1 руб. 60 коп.

ИВАН БУНИН

# Иван Бунин

## ИЗБРАННОЕ

Иван Бунин

# ИЗБРАННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИЕСМА» РИГА 1978

К I
Б 91

Текст печатается по изданию:
И. А. Бунин, Избранное,
«Художественная литература»,
М., 1970

Вступительная статья
*Л. Крутиковой*

Оформление художника
*Валентина Озолиня*

Б $\frac{70302-664}{M801(11)-78}$ —78

# Верность призванию

Разобраться в писательской судьбе, личности и творчестве Ивана Бунина, большого русского художника, — дело нелегкое. И не только потому, что его яркая личность, редкий талант и долгая жизнь (он умер в 1953 году 83 лет) вызывали и вызывают зачастую противоположные суждения и оценки. Главная трудность в другом. В судьбе и книгах Бунина преломились острейшие противоречия и конфликты предреволюционной и революционной России конца XIX и начала XX веков. И преломились резко индивидуально, неповторимо, сообразно богатому жизненному опыту писателя, его страстной и пристрастной натуре, большому таланту художника. С великой сердечной болью писавший о дореволюционной России, Бунин совмещал в своем творчестве острую критику современного ему общества с яростным неприятием революции. Все это обусловило невероятную сложность его творческого пути, его писательское одиночество, трагический разрыв с Родиной.

Талант писателя окреп в предоктябрьское десятилетие, когда повсеместно шли споры о революции, народе, культуре и гуманизме. Бунин был вместе с теми, кто отстаивал и продолжал традиции русского реализма, кто противостоял крайностям модернизма. Острое ощущение кризиса буржуазного мира и индивидуалистического сознания, озабоченность судьбами России, народа и человека, пристальное внимание к внутреннему миру самых рядовых, обыкновенных людей роднило его со столь разными художниками, как Куприн, Шмелев, Пришвин, А. Толстой, Касаткин, Чапыгин, Шишков. В их творчестве бесстрашный взгляд на русскую жизнь нередко сочетался с политической наивностью, растерянностью перед будущим, что при всей близости отличало их позицию от Горького, основоположника нового, социалистического искусства.

По-толстовски влюбленный в земное бытие и мучившийся его загадками, Бунин много видел и пережил на своем веку. Диапазон его художественных впечатлений простирался от русской деревни до всей мировой истории. Его занимала психология современников и тех, кто жил тысячелетия назад. Художник писал о себе: «Неутомима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, но и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых долгих веков». Интерес ко всем векам и странам заставил писателя исколесить почти весь мир. Он объездил всю Европу, побывал в странах Ближнего Востока, в Индии и на Цейлоне,

Путешествия и увлеченность многообразием жизненных проявлений обогащали бунинское искусство. Лучшие произведения писателя передавали и движение современности, и связь русской жизни с глубинами веков, и ее своеобразие по сравнению с бытом и нравами других стран. Справедливо писал Горький в день 25-летия литературной деятельности Бунина: «И проза Ваша, и стихи с одинаковою красотой и силой раздвигали пред русским человеком границы однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле»[1].

Неугасимая преемственность культуры, тема памяти, воспоминаний, власти исторического прошлого постоянно тревожили мысль писателя. Рассматривая личность как звено в цепи поколений, несущее в себе наследие веков, Бунин не исповедовал вместе с тем слепого фатализма, космического, исторического или религиозного. Наоборот, выявляя природно-биологическую и социально-историческую обусловленность личности, художник взывал к самосознанию человека, к чувству ответственности за прожитую жизнь, к расширению гражданского, философско-исторического, этического, эстетического и эмоционального восприятия мира.

Напряженность поисков, неуспокоенность, вечные сомнения и стремление к истине отличают путь самого Бунина, изобилующий как взлетами, прозрениями, художественными открытиями, так и срывами, политическими заблуждениями. И все-таки всю жизнь оставался писатель верен тому благородному призванию, о котором писал в стихотворении «Зов»:

Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать — в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду...

Пушкин, Лермонтов, Гете, Лонгфелло, Саади, Чехов, Толстой служили ему путеводными маяками.

Стремление к совершенству определяло и работу Бунина над словом. Поэт и прозаик, он обладал обостренным чувством ритма, музыкальности вещи, где «не только каждое отдельное слово, но и каждая буква имеют значение». Немало «адовых мук» испытал художник, добиваясь нужного смысла и тона повествования. Верность таланту, верность призванию — едва ли не самая яркая, доминирующая черта его личности и творчества.

Своеобычный талант Бунина по достоинству оценили собратья по искусству. Чехов и Горький, Куприн и Шмелев, Качалов и Рахманинов, Томас Манн и Ромен Роллан, Рене Гиль и Райнер Мария Рильке, а в наше время — Соколов-Микитов, Паустовский, Твардовский высказали немало метких суждений, помогающих постичь глубины бунинских творений[2].

[1] Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина. — Горьковские чтения 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 69.

[2] Высказывания деятелей искусств о Бунине любовно собраны в книге: Бабореко А. И. А Бунин. Материалы для биографии. М., Художественная литература, 1967.



«Бунин вовсе не холодный писатель, — говорил Горький в 1918 году. — Он весь, как натянутая струна, и его сдержанность — показатель большой внутренней силы... А какой талант! Какой язык! Быть может, это лучшее, на что способна современная проза»[1]. Высокая оценка Горького выдержала проверку временем. Во всей полноте, однако, искусство Бунина еще не осмыслено. Постижение его писательского пути со всеми изгибами и противоречиями потребует немало усилий и от читателей, и от критиков.

## I

Неприметно начиналась жизнь Бунина. Родился Иван Алексеевич 10 (22) октября 1870 года в Воронеже, в разорившейся дворянской семье, детство провел в глухом обедневшем поместье Орловской губернии.

Бедные внешними событиями, детские и юношеские годы писателя способствовали сосредоточенности, пристальному вглядыванию в окружающий природный и деревенский мир. «...В глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым порогам, а зимой среди сугробов» пробуждалась у мальчика жизнь ума и сердца, развивалась необычайная зоркость глаза, обостренность слуха и обоняния. Видел он «все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги». Немало дней и ночей провел подросток с крестьянскими сверстниками в поле, пася с ними скотину, в избах, на посиделках, сочиняя «плясовые», «страдательные».

«Меня всегда волновали земля и народ», — говорил впоследствии Бунин. На этой мощной первооснове взрастал его талант. Природа, дворянская усадьба, крестьянские избы, книги и богатейшая фольклорная и языковая стихия средней России — вот что изначально формировало личность будущего художника.

Художественная одаренность Бунина была разносторонней. Рано проявились его склонности к музыке, живописи, ваянию, поэзии. Стихи поначалу он писал легко и быстро, подражая то Пушкину, то Лермонтову, то Надсону.

Обучение в елецкой уездной гимназии длилось всего четыре года. Недостатки легкомысленно прерванного образования восполнялись чтением, рассказами, преданиями, песнями, услышанными в семье, от дворовых и крестьян, а главное — занятиями с братом Юлием, недавно окончившим университет, народовольцем, пробывшим год в тюрьме и высланным из столицы. «Он прошел со мной весь гимназический курс, — писал Бунин в автобиографической заметке, — занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе». Под влиянием Юлия складывались демократические убеждения начинающего писателя, развивался его интерес к народной жизни, к творчеству писателей-демократов — Щедрину, Некрасову, Глебу и Николаю Успенским.

[1] Рождественский В. Страницы жизни. М.—Л., 1962, с. 177.

Впервые стихи и рассказы Бунина появились в печати в 1887 году. Но путь его к настоящему искусству был еще долог. Покинув обедневший родительский кров весной 1889 года, он почти десять лет провел в борьбе с нуждой, в скитаниях, в поисках самого себя.

В эти годы он сотрудничал в газете «Орловский вестник» «и был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком...», работал в Полтавском земстве то библиотекарем, то статистиком; увлекшись толстовским учением, присоединился к «толстовцам», учился бондарному ремеслу, торговал изданиями «Посредника». Много путешествовал, бродил по Крыму, по Украине, по России. Пережил большую любовь и связанную с ней душевную драму.

Попав в столичные литературные круги, Бунин сразу столкнулся с разными поколениями писателей, с резко противоположными направлениями: Л. Толстой, Жемчужников, Чехов, Горький и шумно заявившие о себе символисты — Бальмонт, Брюсов, Коневский... Все это несколько ошеломило начинавшего писателя, который, разочаровавшись к тому времени в идеях народничества и толстовства, с трудом искал свой путь в жизни и литературе.

В 1897 году вышел в свет первый сборник рассказов «На край света», одобрительно встреченный критикой. Повествуя о нищете и голоде крестьян, о переселенцах («Танька», «Вести с родины», «На чужой стороне», «На край света»), о разорении мелкопоместных («На хуторе», «В поле»), Бунин тогда уже двупланово изображал деревню. Социальные драмы и трагедии он оттенял поэзией и красотой природы и человеческой души.

Однако во всю силу поэтическое дарование писателя раскрылось в переводе «Песни о Гайавате» Лонгфелло (1896). И это не случайно. Нравственный и эстетический пафос поэмы был созвучен бунинскому мироощущению, которое не поддавалось полновесному выражению в собственных произведениях: сковывали робость, власть традиции, неопытность.

Дальнейшее становление Бунина-художника шло в общем русле демократического искусства, озабоченного поисками и защитой жизненных ценностей и гуманистических идеалов, на место которых декадентские теоретики спешно выдвигали крайний индивидуализм, мистицизм, эротику.

Блестящий перевод поэмы Лонгфелло, успех первых книг, дружба с Чеховым, расширение литературно-художественных связей, знакомство с Горьким, Куприным, южнорусскими художниками, участие в литературном кружке «Среда» — словом, выход в большую литературу, — все это расковало духовные силы Бунина. К началу века он стал писать более смело, самостоятельно, не оглядываясь на авторитеты.

Поэма «Листопад» (1900) и рассказ «Антоновские яблоки» (1900) открывают новый период в творчестве Бунина. Он пишет о красоте и величии природы, о ее постоянном движении и обновлении, что приобщает человека к гармонии и вечности. Именно в эти годы сложилось то радостно-пантеистическое отношение к земному бытию, которое сопутствовало писателю всю жизнь.

Радость жизни во всем я ловлю —
В звездном небе, в цветах, ароматах... —

декларировал художник в 1898 году.



Поворот от изображения социальных драм русской деревни к проблемам вневременным, непреходящим насторожил современников. Начали писать, что он ушел от жизни к красоте, погрузился в мир собственных переживаний. Даже Горький двойственно оценил «Антоновские яблоки». «Это — хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно»[1]. А рядом сомнение: «Хорошо пахнут «Антоновские яблоки» — да! — но — они пахнут отнюдь не демократично»[2].

Сомнение Горького понятно. Глашатай революции ждал более злободневного и социально острого искусства. Бунин меж тем шел своим путем к осмыслению современности. Он писал в стихотворении «Ночь»:

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного...

Выдвижение «прекрасного и вечного» на первый план еще не означало разрыва с современностью. Народные беды по-прежнему волновали Бунина. По сравнению со сборником «На край света» в новых рассказах стали звучать даже более масштабные темы: о путях исторического развития России, о смене культур, о русском характере, о роли интеллигенции в жизни народа, о новых настроениях в народной среде.

Ощущая историческую неизбежность гибели старого патриархального уклада, Бунин вглядывался в новые процессы, пытался уловить, что несут они России и человеку, а уходящему миру слагал эпитафии («Антоновские яблоки», «Новая дорога», «Эпитафия», «Сосны», «Мелитон»).

Дворянская жизнь в рассказе «Антоновские яблоки» раскрыта преимущественно с ее поэтической стороны, негативные черты крепостничества обойдены, притушены. Расставаясь с прошлым, писатель хотел удержать в памяти потомков то, что достойно воспоминания, что достойно сохраниться в веках. К воссозданию истории и современности в их сложности Бунин придет позднее — в «Деревне» и «Суходоле».

Новые настроения деревни кануна революции 1905 года — ненависть к господам и ожидание «больших перемен» — писатель чутко передал в рассказах «Сны», «Золотое дно», в стихотворении «Запустение». Они были опубликованы в 1-м сборнике «Знания» вместе с прозой Горького, Андреева, Вересаева, Серафимовича, Телешова, Гарина-Михайловского. Критика сочувственно встретила произведения Бунина, отметив, что они являются верным барометром времени, выражают общие настроения знаньевского сборника. Высоко оценили эти рассказы Чехов и Горький.

Первые известия о революции, о всеобщей забастовке, о царском манифесте, обещавшем свободу слова, печати, собраний, застали писателя в Ялте. «Какой-то жуткий восторг, чувство великого события», — записал он в дневнике 18 октября 1905 года. И затем везде, где бы ни был Бунин в бурные революционные годы, —

---

[1] Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина. — Горьковские чтения 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 16.

[2] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 28. М., 1954, с. 201.

в Одессе, в Москве, в деревне, в уездном городе Ефремове и снова в Москве, — везде он с неослабным интересом следил за тем, как развивались события в стране, как менялись настроения в деревне и столицах.

Дух героизма, свободы и справедливости был близок писателю. Он понимал законность недовольства и ненависти веками угнетенного народа, но одновременно страшили его стихийные волнения крестьян. Возмущали Бунина реакционные действия черносотенцев, еврейские погромы. Скорбным возгласом: «Русь, Русь!» — заканчивались его записи в одесском дневнике.

Влиянием пережитого окрашены публицистически страстные стихи тех лет: «Джордано Бруно», «Мудрым», «Каменная баба», «Мистику» (1906), перевод поэмы Теннисона «Годива» (1906) и особенно стихотворение «Пустошь» (1907), в котором о времени реакции говорится как о времени «зверств, расстрелов, пыток, казней».

Горький, живший тогда на Капри и внимательно следивший за литературной обстановкой в России, сразу оценил достойную позицию Бунина в годы реакции: «Только Бунин верен себе»[1].

Революция 1905 года и наступившая затем реакция обострили раздумья художника о судьбах России и народа, о русском национальном характере. У него возрос интерес к истории, к прошлому не только родины, но и всего человечества. Чуть ли не ежегодно совершал он поездки по Европе и особенно по странам Ближнего Востока, который привлекал его не экзотикой, а древностью, многовековой историей. В смене древних культур и цивилизаций искал он ответы на злободневные проблемы своего времени. «Меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические», — вспоминал Бунин о причинах своих странствий. В сознании писателя постепенно сливались воедино современность и история, Россия, Запад и Восток.

Впечатления от путешествий по Ближнему Востоку вылились в цикл путевых поэм «Тень птицы» (1907—1911). В них отразилось своеобразие и противоречивость социально-философской мысли писателя тех лет, его раздумья о прошлом и будущем человечества. Революционным событиям он противопоставлял те «вечные» идеалы, которые, казалось ему, могли бы объединить людей «всех стран и всех времен». Два ведущих мотива пронизывают книгу путешествий: отрицание всякого деспотизма, рабства, варварства и утверждение свободы, разума, красоты, любви к земле и людям.

Мысль о России не покидала Бунина и во время странствий. Центральное место в его творчестве неизменно занимала русская жизнь. «Вернулся к тому, к чему Вы советовали вернуться, к повести о деревне», — писал Бунин Горькому на Капри, начиная работу над новой книгой.

## II

«Деревня» (1910) — одна из самых «русских» и социально острых вещей Бунина. Как ни одно другое произведение писателя, эта повесть вобрала в себя всю боль и скорбь, всю силу негодующей ав-

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., 1955, с. 17.



горской мысли и горькой мучительной любви к России, ее замученному народу. До сих пор поражает она накаленностью мысли и чувства, постановкой сложнейших проблем русской жизни, изобилием сцен, картин и деталей, бьющих читателя по душе своей неприкрытой наготой, обнаженной достоверностью.

«Деревня» — книга эпохальная, мужественная, высокогражданская. «Так глубоко, так исторически деревню никто не брал», — не раз говорил Горький, видевший значение повести в том, что она заставила «разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России?», заставила «мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически»[1].

Основные события повести разворачиваются в годы революции и реакции (1904—1907). Но думы автора и героев непрестанно обращаются к прошлому, к истокам современных противоречий, к крепостному праву. Предыстория рода Красовых, прадеда которых «затравил борзыми барин Дурново», задает тон книге, с первых страниц приковывая внимание к социальному антагонизму рабов и господ, к сознанию и поведению народа, отягощенного веками рабства и невежества.

«Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? — думает самоучка-правдоискатель Кузьма Красов. — Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» Эта мысль об ответственности народа за свою судьбу и судьбу России многократно варьируется в повести, прорываясь криком боли в неразрешенном споре Балашкина и Кузьмы. Повторяя мартиролог русской литературы Герцена: «Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев?» — Балашкин яростно заключает: «Скажешь — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?» — «Величайший народ, а не «такой»... — возражает Кузьма. — Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа». Этот по-русски страстный спор кончается ничем, герои не в состоянии разрешить его. Не отвечает прямо на поставленный вопрос и сам Бунин. Он поступает иначе: рисует народную жизнь с разных сторон, подчеркивая многоликость народа, сложность и противоречивость национального характера.

Фронтальный смотр устоям русской деревни, а, по сути, всей русской жизни, производит писатель. Предостерегая от поспешных выводов, он показывает, какую бездну преград предстоит преодолеть России: не только экономических, социальных и политических, но и нравственных, психологических — в способе мышления и чувств, в нравах и представлениях о жизни, в привычках и побуждениях миллионов.

Многонаселенность повести (только названных персонажей в ней более ста) и монтаж, на первый взгляд, довольно разрозненных сцен вызваны желанием автора наивозможно шире запечатлеть народную жизнь, «русский быт, русскую душу ...ее светлые и темные, почти всегда трагические основы».

[1] Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина. — Горьковские чтения 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 52, 53.

В любом герое стремится писатель выявить сложность натуры, сплав силы и робости, красоты и дикости, света и мрака. Своеобразным ключом ко всем сценам и лицам «Деревни», как, впрочем, и ко всем последующим бунинским произведениям о России, могут служить слова писателя из письма 1914 года: «опять всем нутром своим ощутил я эту самую Русь... опять сильно чувствовал, как огромна дика, пустынна, сложна, ужасна и хороша она».

Печальны, никчемны жизненные итоги главных героев, Тихона и Кузьмы. Трагически-нелепо складывается судьба нового, молодого поколения деревни, представленного Денисом и Молодой. Сцены их благословения и свадьбы проходят под неустанный гул метели. Снежный ветер, непроглядная вьюга, серая несущаяся муть, туман и сумрак — эти повторяющиеся детали придают заключительным страницам повести особенно тревожный, сумрачный, даже зловещий колорит. Россия в тупике, Россия на распутье, России грозит новый взрыв народного гнева, Россия нуждается в радикальных преобразованиях — таковы итоги авторских размышлений.

Пафос «Деревни» во многом обусловлен полемическим запалом художника, воевавшего с прекраснодушным, поверхностным, книжным (либеральным или неонароднические представлением о народе. Однако сгущенность мрачных красок, нарочитость выбора некоторых эпизодов, односторонность изображения революционных настроений в крестьянской среде свидетельствовали и об ограниченности авторского кругозора. Подлинно революционная деревня, разбуженная 1905 годом, передовые сознательные крестьяне не попали в поле зрения писателя. По справедливому замечанию В. Воровского, Бунин «смог воспринять и художественно переработать лишь часть процесса, лишь его первую половину — именно разложение старого, в то время как нарождение нового, то есть неразрывно связанная вторая половина процесса, ускользало из поля его художественного зрения»[1]. Одновременно критик-марксист высоко оценивал повесть как «яркую и правдивую картину быта падающей деревни, старой деревни», называл книгу «своего рода исследованием о причинах памятных неудач», имея в виду поражение первой русской революции. Действительно, сила Бунина была в привлечении внимания к вековым устоям и настроениям самых широких народных слоев.

Всем ходом повествования писатель доказывал, что от поведения многомиллионного народа зависит судьба родины, будущее России. Но при этом его страшила отсталость народа, неразвитость социального и политического сознания крестьянских масс. Бунин не уставал повторять, что века татарского ига, первобытнообщинного и патриархально-крепостнического прошлого не канули в Лету. Отвергая революционный путь преобразования жизни и понимая вместе с тем неизбежность новых народных мятежей, Бунин попадал в мучительный круг неразрешимых противоречий, что придавало трагическое звучание всей книге.

После жгуче современной «Деревни» Бунин почти сразу взялся писать «Суходол» — книгу о временах крепостного права, об оскудении и разорении мелкопоместных.

[1] Воровский В. Литературно-критические статьи. М., 1956, с. 333.



Если в «Деревне» преобладал интерес к быту, устоям, укладу русской жизни, то в новой повести главной стала проблема национального характера, «русской души», «психики славянина».

С первых же строк («В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу») автор заражает нас желанием понять странное, сложное, необычное — поведение Натальи, а затем и других жителей усадьбы.

Мотив удивления, тайны, которую предстоит разгадать, господствует в повести, вызывая обилие риторических вопросов, предположений, сомнений, порождая особый тон повествования — неторопливо плавный, размеренный, соединяющий, казалось бы, несовместимое: трезвость аналитической мысли и элегичность, лирику, грусть.

В основу суходольской хроники легли многие факты из истории рода Буниных. Сопричастность автора происходящему и привносит в повесть ту щемящую ноту лиризма, которая сглаживает, уравновешивает беспощадность анализа. Здесь нет «густоты», перенасыщения материалом, нет нервозности, накаленности «Деревни». Вторая повесть отличается большей цельностью, соразмерностью, выношенностью поэтической мысли. Больше того, «Суходол», пожалуй, первая вещь Бунина, где в нерасторжимом единстве схвачена монолитность русской жизни, ее истории, быта, природы, характеров, с их крайностями, изломами, странностями.

История господ Хрущевых пестрит летописью ужасов: за стол с арапниками садились, дворовых за малейшую провинность отдавали в солдаты, ссылали на хутор, сумасшедший дед был убит своим незаконным сыном, от несчастной любви сошла с ума тетя Тоня, нелепо погиб Петр Петрович. Но суходольская жизнь оборачивается и другой стороной — поэтической и прекрасной. Беззаботность, удаль, простота, бескорыстие, сила чувств, задушевность, песенность суходольцев и очарование старины, преданий, сказочной Руси, степных просторов, запахов, красок и звуков — вот что завораживало, привязывало к Суходолу, к «глухомани степи» даже тех, кто пострадал от суходольской дикости.

Суходол, как символ русского бытия, и дворовая Наталья, взращенная этим бытием, — два равновеликих, вершинных образа, в которых наиболее сгущенно и полнокровно отразилось сложное представление Бунина о России и русском характере.

В судьбе Натальи, в ее характере и поведении, в манере мышления и чувств, «во всей ее прекрасной и жалкой душе», порожденной поэзией и дикостью суходольской, выявлял писатель общие особенности «русской души», «ее светлые и темные основы».

Огромными духовными силами, стойкостью, простотой, незлобивостью, способностью к большой беззаветной любви обладала Наталья. Но, подобно Тихону Красову, износила она свою жизнь, «как стряпуха платок, наизнанку». Выдуманными чувствами, несбыточными мечтами озарила она свое однообразно-будничное существование, а затем сама же и погубила себя, непомерно преувеличив свой позор, муку, «заточение». Быстро решив, «что девичьи годы ее кончены», наложила она на себя обет смирения, добровольно надела вериги великомученицы, посвятив свою жизнь без остатка полусумасшедшей больной барышне, а затем так же слепо, безропотно покорилась цинику и распутнику Юшке.

В освещении судьбы Натальи сказались сложившиеся еще в «Деревне» бунинские принципы изображения характеров. Рисуя многочисленные людские трагедии, писатель объяснял их не только социально-историческими условиями, но и внутренним складом личности. Бунин не снимал вины за растраченные попусту силы с самого человека, каким бы забитым он ни был. Так проявлялась гражданская активность художника, озабоченного судьбами людей, у которых он пытался пробудить чувство собственного достоинства, ответственности за прожитую жизнь.

Вместе с тем в такой высокой требовательности, предъявляемой одинаково к господам и народу, сказывалась социальная ограниченность, внеклассовый подход к жизни писателя, пытавшегося уравнять ответственность и верхов и низов за все беды, творящиеся на Руси. Не в классовых противоречиях, а в общей непросвещенности умов, в самой привычке людей чувствовать и мыслить по-суходольски видел Бунин главное препятствие на путях обновления русской жизни.

«Деревня» и «Суходол», с их неразрывностью судеб человека, страны и народа, являют собой новый вид повествовательного искусства. Здесь впервые так рельефно проявилась многомерность мировосприятия Бунина, своеобразие его поэтики, соединяющей в себе изощренное предметно-чувственное видение мира, аналитичность мысли и тяготение к синтезу, к познанию движущих законов бытия. Писатель смело смещает границы жанра: эпос обогащается лирикой, проза достигает эмоционального накала поэзии, недоумения исследовательской мысли окрашиваются тревожным лирическим чувством.

Сочетание лирики с бытовыми картинами, повышенная экспрессивность детали и образа, ослабление сюжета и «недосказанность», усиление роли ассоциативных сцеплений — все это должно было активизировать читателя, приобщить его к неразрешенным проблемам, к горьким думам художника о России. Усиливая эмоционально-философский накал авторской мысли, стихия лиризма смягчала вместе с тем некоторую неясность, расплывчатость социально-политических воззрений Бунина.

Исследование русской жизни в ее народных истоках не было исчерпано «Деревней» и «Суходолом». Проблемы, тревожившие писателя, требовали все новых и новых наблюдений, размышлений, уточнений. От широких эпических полотен Бунин вновь обратился к оперативному жанру рассказа, позволявшему сосредоточиться на отдельных фактах, событиях и судьбах. За три года (1911—1913) он опубликовал почти тридцать рассказов, которые по-прежнему объединяла мысль о России, о народе, о русском характере, — мысль тревожная, жгучая, полемически страстная.

Трезвость взгляда на вековую отсталость России, на подавленность народа, по-видимому, и объясняет сочувствие писателя в те годы социал-демократам. «Теперь тяготею больше всего к социал-демократии, хотя сторонюсь всякой партийности», — говорил Бунин в 1912 году.

С особой резкостью против книжного, надуманного изображения народа в литературе высказался Бунин в автобиографической заметке 1915 года: «А ведь теперь дела наши стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о



мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: «Так что, ваше благородие», говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда небывалый утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются».

Восставая против всякой идеализации и фальши, художник намеренно подымал те пласты народной жизни, которые были искажены или наименее изучены, наименее известны.

Ведущим в творчестве Бунина остается мотив загубленной, неразумно прожитой жизни. Перед нами проходят десятки человеческих судеб, десятки различных людей, добрых и злых, покорных и своевольных, безропотных и недовольных, бескорыстных и жадных, богатырски сильных и беззащитных. Но почти у всех — будь то Захар Воробьев или Сверчок, обладающие былинной силой и добротой, не в меру великодушная Анисья и ее беспутный сын Егор («Веселый двор»), смиренный Аверкий («Худая трава») или Авдей Забота, искренне радующийся, что в его жизни «интересного ничего не было» («Забота»), — у всех жизнь складывается безрадостно, обрывается зачастую трагически-бесплодным концом.

Еще в «Деревне» Бунин писал о Кузьме Красове: «Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и величайшего невежества». Судьбу личности писатель связывал с общим состоянием русской жизни.

Глушь, ухабистые разбитые дороги, кое-как перекинутые мосты, полуразвалившиеся ветряки, рассохшиеся водовозки, избы с крохотными темными окошечками и земляными полами, крыльца и пороги, обросшие грязью, голодные дети, с жадностью поедающие сырую крупу, — такими точными предметами быта, жилья, обстановки, хозяйства передавал писатель атмосферу вековой косности, отсталости, первобытно-нищенского существования русской деревни. Все эти достоверные детали, не раз с щемящей болью отмеченные еще русской литературой, обретают у Бунина новый смысл. Они оттеняют, помогают понять те малоизученные основы крестьянской психики, на которые и обращал в первую очередь внимание художник.

Почти все бунинские крестьяне, придавленные гнетом неразумной действительности, который они не в силах еще осознать, живут во власти спутанных чувств и побуждений. Поступают они зачастую не по велению разума, а подчиняясь более сильной стихии страстей и самой мощной из них — стихии самоутверждения, проявляющейся то в жажде обогащения, то в бунтарстве и даже юродстве, то в смутной тоске по необыкновенному, героическому.

Лишь в двух рассказах — «Лирник Родион» и «Хороших кровей» — раскрыл писатель целесообразную направленность внутренних сил, талантливости простого человека. Лирник Родион и коновал Липат, в отличие от многих других бунинских персонажей, достойно реализуют свои способности: один радует людей пением, другой лечит животных, «смиряет, уравновешивает буйные силы природы». Оба находятся в ладу с миром, собой и природой. Эти рассказы, в особенности «Лирник Родион», дают представление об авторском идеале человеческой личности. Сокровенная связь с народом, родиной, ее

историей и природой, многогранность чувств, простота и отзывчивость свойственны лирику Родиону. Он «принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера». На развитие именно этих качеств возлагал надежды писатель, мечтая о том, чтобы «жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость».

Сосредоточивая художественное внимание на анализе мироощущения героев, Бунин, как и его современники, обновлял структуру рассказа. Он нарочито упрощает сюжет, приглушает интерес к внешним событиям, зачастую начиная повествование сообщением о его развязке: с самого начала мы узнаем о смерти Захара Воробьева, о ночном разговоре мужиков, который перевернет представление гимназиста о народе («Ночной разговор»), о неизбежной смерти Аверкия («Худая трава»). Да и тогда, когда события разворачиваются последовательно («Веселый двор», «Ермил», «Игнат»), писатель изображает не столько действия героев, сколько исследует ту «тайную работу души», которая является первоисточником любых поступков. При этом Бунин вводит нас в сложный поток чувств героев и мало знакомит с их думами, так как они еще плохо умеют мыслить, их думы неотделимы от чувств. Так возникает и особая форма передачи переживаний: либо путем сказовой манеры, где в самой речи человека обнаруживается его отношение к миру («Хорошая жизнь», «Ночной разговор», «Сверчок», «Сила»), либо в более сложных случаях — введением несобственно-прямой речи, переплетающейся с авторским повествованием. Сохраняя колорит крестьянского восприятия, Бунин как бы договаривает и проясняет то, что лишь смутно чувствуют его герои и что сами они не сумели бы высказать. Именно так передано внутреннее состояние Захара Воробьева, вся душа которого, «и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига», или Аверкия, пытавшегося «вспомнить всю свою жизнь» и вспоминавшего «пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных».

Удивительный лаконизм и емкость бунинского письма стали выявляться здесь, в «крестьянских» рассказах. Несколькими фразами мог писатель передать многолетнее течение человеческой жизни, ибо чувствовал и воссоздавал ее социально-психологическую доминанту, объединяющую разрозненные факты биографии и поведения героя. «Замуж вышла Анисья рано — рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, — тоже печника, вольноотпущенного дворового — и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь». — В этом небольшом отрывке с точностью психолога раскрыт трагический смысл молодости, да и всей жизни Анисьи, простой русской женщины.

Талант писателя разворачивался во всю мощь. «Он так стал писать прозу, что, если скажут о нем: это лучший стилист современности — здесь не будет преувеличения»[1], — говорил Горький о Бунине этих лет.

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., 1955, с. 228.



## III

Суровое изображение русской действительности усилилось в рассказах, созданных накануне и в годы первой мировой войны. «Чаша жизни», «Архивное дело», «Казимир Станиславович», «Петлистые уши», «Аглая», «Старуха»... Провинциальная глушь и обе столицы, мещане, дворяне, духовенство, либеральная интеллигенция, художественные круги — все подвергается такому бескомпромиссному осуждению, какого не было у Бунина в изображении деревни.

В свете народных страданий, нужды и горя автор сильнее и жестче оттеняет фальшь, притворство и пошлость тех, у кого были достаток и образование.

Не состраданием и скорбью, а гневом и едкой иронией окрашены фигуры либерала Станкевича, благообразного старика, деспота и фарисея, вещающего с кафедры о свободе и равенстве («Архивное дело»), учителя Горизонтова, озабоченного собственным долголетием, при жизни продающего свой скелет Московскому университету, ростовщика Селихова и протоиерея Кира Иорданского, всю жизнь растративших на нелепое соперничество, и даже Александры Васильевны, молодость которой прошла в пустых мечтах о собственном доме. Заглавием «Чаша жизни» острее подчеркнута бесплодность и пустота их существования, резче выявлена авторская мысль о высоком призвании человека.

Наивысшего социального накала и художественного обобщения искусство Бунина достигло, пожалуй, в небольшом рассказе «Старуха» (1916). В этом маленьком шедевре писателя значимо все: первая фраза с ее фольклорно-песенной интонацией, выражающая истинность непритворного горя старой служанки, плач которой проходит шестикратно повторенным лейтмотивом через весь рассказ; и пошлость обстановки мещанского дома; и эпизодическая фигура квартиранта, учителя прогимназии, который в классах драл «детей за волосы, а дома усердно „работал" над большим, многолетним сочинением „Тип скованного Прометея в мировой литературе"»; и «больная тропическая птичка» с ее тонким и грустным сном, который контрастно оттеняет тяжкий и злой сон хозяев. К концу рассказа писатель усиливает обобщение до всероссийских размеров. Атмосфера пошлости и притворства в столичных кругах с их разливанным морем веселья противостоит народным страданиям — несчастью оборванного караульщика, у которого убиты на войне все сыновья, «четыре молодых мужика», горю деревни, где «в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы...». Все изображенное пронизано такой силой авторского негодования, боли и горечи, что эти три страницы по праву могут стать рядом с гневно-скорбными стихами о России Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, с публицистикой Чаадаева, Белинского, Герцена, Л. Толстого.

Первая мировая война усугубила тревожные раздумья писателя о России и судьбах всего человечества. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» — Эти страшные слова Апокалипсиса неотступно звучали в моей душе, когда я писал „Братьев" и задумывал „Господина из Сан-Франциско"...» — вспоминал позднее художник. Непосредственно о войне Бунин почти не писал, но ее трагический отсвет лежит на всем его творчестве 1914—1917 годов.

Под влиянием кровавых событий крепла его мысль об ответственности художника за каждое произносимое слово. Писатель всегда неприязненно относился к словесному трюкачеству, к фальши, ко всем скандальным сенсациям, которыми неизменно сопровождались «новые» течения декадентов, символистов, акмеистов, футуристов. Еще в 1913 году на юбилее «Русских ведомостей» произнес он страстную речь об упадке современной литературы: «Немногое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум... растет словесный блуд... Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, — напыщенный и неизменно фальшивый».

Верность реализму, озабоченность судьбами страны, народа и человечества — все это сближало Бунина с Горьким. Художник был непременным участником почти всех горьковских изданий, в том числе «Летописи» — журнала, занимавшего антивоенную и антишовинистическую позицию. В первом же номере «Летописи» (декабрь 1915 года) были напечатаны программно-декларативные стихи Бунина «Слово», «Поэту», ратующие за глубину, кристальную чистоту слова, связующего поколения людей.

Самым ярким документом, проясняющим писательскую и мировоззренческую позицию Бунина военных лет, было его письмо к А. Измайлову, сотруднику газеты «Биржевые ведомости», которая просила писателя высказаться о современном состоянии мира в канун нового, 1915 года. Чувствуя всю сложность происходящего, писатель отказался ответить «в нескольких словах и сгоряча». «Твердо знаю, что нынешнее Рождество может быть не последним кровавым Рождеством, — писал он, — знаю, что человечество живет еще Ветхим заветом, что люди еще слишком звери — теперь это доказано с небывалой, ужасающей очевидностью, но есть и тысячи „но", радостных и утешительных, не говоря уже о голосе сердца. Не могу позволить себе с легким духом пророчествовать о судьбах мира, где за последнее столетие все же совершаются беспримерные в истории политические, социальные и научные катастрофы».

С негодованием говорил писатель об интеллигенции, о публицистах, о правящих кругах, о министрах, которые не знают страны и хозяйства, не понимают отношения народа к войне. «Народ воевать не хочет, ему война надоела... А в газетах продолжается все та же брехня. Разные ослы вроде Ильиных, Бердяевых и др. долбят свое...»

Вполне понятно, что в творчестве писатель еще в большей мере стремился к трезвости и объективности. Он все глубже и пристальнее всматривался в разнообразие «злого и прекрасного» мира, пытаясь выявить его наисложнейшие конфликты, его законы, его «приливы и отливы». Поэзия и проза Бунина этих лет наиболее многообразна, многопланова. Взор писателя вновь, как и в 1900-е годы, устремляется к другим векам и странам, к другим народам, культурам и цивилизациям. Он сближает историю и современность, сталкивает людей разных стран и вероисповеданий, подвергая пристальному анализу те устои, те мотивы поведения, которым подчиняются люди в Англии и на Цейлоне, в Италии и Америке, в Германии и Франции.



Ошиблись те современники, которые упрекали Бунина в том, что на дикость русской деревни он смотрел будто бы с позиций западной, буржуазной культуры. С не меньшей, а даже большей беспощадностью разрушал писатель в рассказах военных лет миф о благополучии буржуазно-капиталистической цивилизации Запада и Америки.

Резкое неприятие буржуазного мира с его всевластьем злата, силы и жестокости, с порабощением миллионов и разрушением человеческой личности сказалось в таких вершинных произведениях Бунина, как «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Старуха», «Петлистые уши», «Сны Чанга».

Повествование о гибели цейлонского рикши и духовно опустошенном англичанине («Братья»), о смерти господина из Сан-Франциско или гимназистки Оли Мещерской («Легкое дыхание»), о преступлении, совершенном Соколовичем («Петлистые уши»), о горе уездной старухи («Старуха») или одиночестве обнищавшего, опустившегося Казимира Станиславовича — любое из этих повествований превращалось в незабываемую картину неправедности, неустроенности, катастрофичности современного мира, порождающего преступную, циничную психологию одних и потерянность, одиночество, горестные трагедии других.

Сила авторского негодования и сочувствия была подчас столь велика, что прорывалась в рукописях «криком души», обнаженными прямыми высказываниями, которых так старательно избегал художник в окончательном тексте. На полях чернового наброска «Старухи» Бунин, потрясенный горем униженной прислуги, восклицал: «Да будет трижды проклят тот страшный мир, в котором я живу! И да не вырастут даже тернии на наших могилах!»[1] В машинописи «Петлистых ушей» был авторский комментарий, свидетельствовавший о возмущении художника тем, что «несметный рабочий люд с утра до вечера» работает «для того, чтобы легко катилась ничтожная и преступная жизнь небольшой кучки, поработившей весь этот люд». Наконец, черновые редакции монологов капитана («Сны Чанга») содержали идущие от автора резкие характеристики биржевых дельцов, бизнесменов, чиновников, как «высшего отребья человечества», что «опутали весь мир и изменили самое лицо земли». «Рабство, войны, убийства, казни, чуть не доисторическая нищета угнетенных, забитых и бесправных, тех, что расстреливают тысячами за один крик о прибавке лишнего куска хлеба, грубая и бессмысленная роскошь, отвратные в своем даже внешнем безобразии и в своей тесноте города, стоящие на гигантских клоаках и непрестанном грохоте...»[2] — так гневно и страстно осуждал Бунин буржуазно-капиталистическую цивилизацию.

В приведенных черновых отрывках слишком обнаженно звучало то, что затем уходило в подтекст, получало более тонкое и емкое поэтическое воплощение.

Стремясь усилить негативную характеристику буржуазной цивилизации, Бунин использовал обличительные монологи тех пристрастных, разуверившихся в жизни героев, в больном сознании которых, как в увеличительном зеркале, резче отражались пороки современ-

---

[1] Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 45, л. 1 об.

[2] Государственный музей Тургенева.

ности. Таковы монологи англичанина («Братья») о преступной колониальной политике на Востоке, о неизбежной гибели той цивилизации, которая покоится на деспотизме, жадности и индивидуализме. Тем же пафосом обличения социальной несправедливости проникнуты монологи Соколовича («Петлистые уши») и капитана («Сны Чанга»).

Иные приемы обобщения и осуждения социального зла нашел Бунин в «Господине из Сан-Франциско».

Сосредоточив художественное внимание на фигуре главного героя, принадлежавшего к тому отборному обществу, «от которого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей», Бунин свое отношение к этому обществу передал в тонах едкой иронии, исключающей всякое сочувствие и сострадание. Именно в этом рассказе изобразил писатель то «высшее отребье человечества», с его цинизмом, низменность вкусов и потребностей, призрачное благополучие которого держится на жестокости, богатстве и власти.

Не прибегая к публицистике, писатель внешне спокойно, как объективный ученый, уверенный в своей правоте, воссоздает жизнь 58-летнего миллионера в тот момент, когда «господин» решил отдохнуть и развлечься. Здесь-то и возникает неумолимая картина полного ничтожества и безликости того существа, которого писатель не случайно лишил даже имени собственного, человеческого звания. Американский миллионер утратил, а вернее, погубил, не открыл в себе то самое главное, самое ценное, что всегда поэтизировал Бунин, — человеческую индивидуальность, самобытность, способность радоваться всему прекрасному и доброму.

С толстовской беспощадностью изображает Бунин, как «путешествуют», то есть одеваются, переодеваются, завтракают, обедают и ужинают господин из Сан-Франциско и подобные ему знатные путешественники. Но при этом Бунин, в отличие от Л. Толстого, лишает своего героя просветления совести и сознания даже перед лицом смерти. Так вершит художник свой суд: слишком далеко зашло слепое самодовольство и безмерная самоуверенность властвующих дельцов, чтобы могла пробудиться их человеческая сущность.

Не только главный герой, но и те, кто окружает его, лишены индивидуальных примет. Во всех сценах перед нами возникают маски, куклы, механические люди, которые живут и поступают по нормам своего обезличенного круга, где все продается и покупается (даже танцующая пара влюбленных нанята «играть в любовь за хорошие деньги»), где ценятся лишь власть, богатство и положение. Преступность этих людей подчеркнута сопоставлением их с кровавой тиранией диктатора рабовладельческого Рима — Тиберия.

Такой же силой и емкостью социального обобщения обладает образ многоярусного, многотрубного океанского корабля «Атлантида», который всегда толковался критикой как точная модель буржуазного мира с его чудовищными контрастами, бездуховностью, фальшью и мертвенностью.

Есть в рассказе одновременно и образы другого плана, довыясняющие авторское отношение к жизни. Например, бушующий океан. Он олицетворяет мощные силы природы и оттеняет призрачное могущество, гибельность машинной цивилизации «Атлантиды». Безликим пассажирам-путешественникам противостоит живая солнечная Италия и ее люди — беззаботный старик-лодочник Лоренцо и абруццские горцы, не утратившие радостного восприятия мира.



Гуманистическая подпочва бунинских произведений лишала их безысходного пессимизма, мрака, отчаяния. Писатель не смыкался с теми художниками и философами, которые предрекали человечеству лишь страдание, катастрофы, гибель. Не страх и отчаяние, а предостережение звучало в его книгах.

Однако сокровенную сущность бунинского искусства постичь нелегко. Авторская позиция, редко выраженная прямо, открыто публицистически, проявляется в тональности повествования, в композиционной структуре книг, где большую роль играют широкие ассоциации, принципы сопоставления и контраста, цепь вставных новелл, внесюжетные эпизодические фигуры. Наконец, сама полнота воссоздания мира, многоцветного, вечно меняющегося, исполненного не только трагизма, но и света, исключает безысходность, отрицает всякую односторонность и однолинейность толкования бытия.

Примером симфонически-сложного воссоздания мира может служить небольшой рассказ «Казимир Станиславович», где господствующий мотив людского страдания, одиночества, олицетворенный в образе главного героя и целой галерее эпизодических лиц (извозчик, который произносит «ударную» фразу: «На свете народу много, всех вас не упомнишь...», девушка в публичном доме, которая писала письмо и плакала, полоумный составитель жизнеописания угодников), сопровождается не менее мощным мотивом движущейся многоликой жизни, где одиночество и страдание переплетены и с бездумным деляческим существованием, и с атмосферой весеннего света, молодости, красоты.

Из замкнутого деревенского или провинциального быта человек в рассказах 1914—1917 годов выводится на просторы земли, истории и вселенной. В одном рассказе все чаще совмещаются разорванные во времени и пространстве пласты бытия, что придает необычайную многомерность, насыщенность и напряженность повествованию. Все труднее становится расчленить рассказ, выделить его ведущие проблемы, — так сложно в нем спаяны человеческая психология, быт, история и современность.

Завершает дореволюционные искания Бунина философский рассказ «Сны Чанга», построенный на чередовании светлых снов-воспоминаний Чанга и мрачной обстановки, в которой очутились капитан и собака к концу жизни. Два противоположных мировосприятия (Чанга и капитана) обостряют настойчиво звучащий вопрос о правде и смысле жизни: что же такое человеческая жизнь — радость, красота, счастье или низость, зло, жестокость?

Прямого ответа нет в рассказе, в нем звучат только намеки, предчувствия, рождаемые то искусством (звуки скрипок в ресторане или «неземные песнопения» в костеле), то духовной близостью, любовью-соучастием. Рассказ завершается отрицанием смерти как небытия и утверждением иной, более высокой, но неведомой автору правды.

В преддверии революции такое решение проблемы оказывалось слишком отвлеченным, лишенным ясной и социально-конкретной перспективы. Более того, само изображение усложненной картины мира, где никто будто бы не ведает, как казалось Бунину, истинной правды, было скрытой полемикой с идеями классовой борьбы и революционным преобразованием жизни.

Не случайно в монолог капитана о пути «всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее», ворвалось риторическое восклицание: «А ведь мы помимутно противимся ему, помимутно хотим

повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему!» И в рассказе «Петлистые уши», перечисляя вековые преступления человечества, Бунин заставляет Соколовича рядом с древними деспотами Ассирии и Рима, рядом с современными завоевателями назвать в ряду преступников и тех, кто убивал тиранов и притеснителей. Так ненависть к деспотизму и своеволию оборачивалась у Бунина отрицанием любого насилия, что и привело писателя к неприятию революции. На иных, эволюционных и бескровных путях просвещения, гражданского и этического воспитания масс искал он возможности искоренения социального зла.

Такая абстрактно-гуманистическая, по сути утопическая, позиция Бунина закономерно привела его к творческому кризису и тупику накануне революции 1917 года. «Поистине проклятое время наступило, даже и убежать некуда...», «Мрачен я стал адски, пишу мало, а что и пишу, то не с прежними чувствами», «Не написал я буквально ни строки, — все лето с утра до вечера читаю газеты», — такими горькими признаниями пестрят письма Бунина.

Предчувствуя крах самодержавно-буржуазной России, о чем свидетельствует, например, письмо Бунина от 22 мая 1917 года критику Тальникову: «Да ведь и войне вот-вот конец. Российская телега совершенно разваливается. (И — нет худа без добра — это, я уверен, заставит нас наконец трезвее взглянуть на самих себя)»[1], художник не видел реальных сил, способных перестроить русскую жизнь, оставался непримиримым противником революции.

Все это не могло не обернуться трагедией. Всем существом, всем творчеством связанный с Россией, мучившийся ее болями, неустанно повторявший, что жизнь страны и народа нуждается в коренных изменениях, Бунин в годину великих событий оказался в стане эмигрантов.

## IV

Бегство писателя из революционной России не было результатом случайного стечения обстоятельств. Сразу после Октября 1917 года Бунин занял непримиримо враждебную позицию по отношению к молодой Советской республике. Он порвал дружеские отношения с Горьким, заявив, «что говорить нам теперь не о чем», в мае 1918 года покинул Москву, поселился в Одессе, где сотрудничал в белогвардейской газете, посылая проклятия в адрес большевиков. Тогда же он вел свой печально знаменитый дневник «Окаянные дни», опубликованный позднее в эмиграции.

В феврале 1920 года на французском пароходе отплыл он из России, как оказалось — навсегда. Оставшуюся половину жизни Бунин провел в эмиграции, живя то в Париже, то в Грассе.

В годы гражданской войны и первое время эмиграции трезвость и сдержанность изменили писателю. Немало резких, злых и несправедливых обвинений произнес он в запальчивости и ярости против молодой Советской республики, против советской литературы и даже новой орфографии. Небывалые раньше настроения отчаяния, бессильного гнева и безысходности захлестывали писателя:

[1] Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени Ленина, ф. 487, к. 35, ед. хр. 11, л. 42.



Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радости обман,
Тщету любви...

Царством Сатаны, хаосом и хлябью кажется ему новая Россия, которую он клянет, которой предвещает гибель.

Однако «конец России» воспринимается и как конец собственной жизни. «Конец» — так озаглавил Бунин свой самый мрачный и беспощадно исповедальный рассказ о бегстве из России, оканчивающийся щемящей, беспросветной и искренней нотой: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?»

Творчество Бунина эмигрантских лет не менее сложно и многопроблемно, чем его произведения 1910—1917 годов. Оно отмечено как новыми художественными исканиями, так и неудачами, срывами.

В первые годы зарубежья Бунин обращался к острым политическим темам, но рассказы получались злобно тенденциозными, художественно слабыми, проникнутыми историческим пессимизмом («Безумный художник», «О дураке Емеле, какой вышел всех умнее», «Красный генерал»). Однако постепенно менялась направленность писательского взора. Отказавшись от исследования социально-исторических и бытовых закономерностей народной жизни, художник перешел к изображению внутреннего мира отдельной личности. И хотя все зорче всматривался он в тончайшие движения человеческой души, в сложные процессы сознания и психики, сужение тематики обедняло его творчество.

И все-таки творческие силы писателя не иссякли. Однозначно объяснить этот факт невозможно. Видимо, слишком большим талантом обладал Бунин, слишком глубокими корнями был он связан с Россией, слишком велик был запас жизненных впечатлений, чтобы могло оскудеть его дарование. В глубинах своей личности, в воспоминаниях о прошлом находит он теперь источник вдохновения. Лирическая миниатюра «Роза Иерихона», открывавшая и давшая название сборнику 1924 года, свидетельствует о возвращении к жизни, которое переживал тогда писатель. Не о конце, не о смерти, не о тщете земного существования, чем насыщена была его проза и поэзия 1920—1923 годов, а о творческой силе Любви и Памяти говорит Бунин: «Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь и Память!»

Вновь, как в самом начале века, лирическая стихия захлестывает его. На смену объективной, сдержанной манере письма приходят лирические излияния, принимающие то форму дневников, записок, диалогов, то воспоминаний, писем, философских размышлений о смысле жизни («Роза Иерихона», «В ночном море», «Неизвестный друг», «Ночь», «Книга», «Надписи», «Воды многие»).

Писатель как бы наново учится жить, заново убеждает себя и читателя, что существуют в мире нетленные ценности, ради которых стоит переносить неисчислимые страдания. Он верит: «от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое,

доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно».

Тоска по утраченной родине нередко оборачивается поэтизацией старины («Далекое», «Несрочная весна»). Не о трагических противоречиях, не о сложности русского характера повествует ныне писатель, а о красоте, одухотворенности русского человека («Косцы», «Лапти», «Книга», «Божье древо»). «Только один господь ведает меру неизреченной красоты русской души», — вырывается у него.

Той же поэтизацией России отмечены лучшие произведения о любви — «Митина любовь», «Солнечный удар», «Ида», в которых по-новому раскрылось дарование Бунина, его способность проникать в интимные глубины человеческого сердца с их неизведанными и непознанными законами.

Явно полемически звучит в повести «Митина любовь» рассуждение о любви: «Что это значит вообще — любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое».

В отличие от модных писателей, непомерно преувеличивающих подсознательную силу страсти, Бунин изображает самые интимные человеческие переживания в их многомерной обусловленности. Трагическая любовь Мити неуловимыми нитями связана со всем комплексом социальных, бытовых, культурных, моральных, природных и биологических факторов. В гибели Мити оказываются повинными и враждебная ему, как и автору, пошлая артистически-богемная среда Петербурга, воплотившаяся в символическом образе «господина в смокинге, с бескровным бритым лицом», и зараженная тлетворным духом купли-продажи деревенская среда, и тысячелетняя романтизация любви в искусстве, и обстановка дворянской усадьбы, и нерасознанный голос плоти, и, наконец, сама натура Мити, не подготовленная к жизни, слишком сосредоточенная на своих переживаниях.

Философские раздумья о смысле жизни, о назначении человека, о любви и смерти, а главное, о многообразных связях человека с миром, о роли разнородных, внешних и внутренних сил в формировании личности, — все это легло в основу «Жизни Арсеньева», произведения, вобравшего весь человеческий и художественный опыт писателя.

Ни одна книга не вынашивалась художником так долго. Задумана она была еще в 1920 году, а осуществление замысла длилось одиннадцать лет — с 1927 по 1938 год.

«Жизнь Арсеньева» — едва ли не самая оригинальная и необычная книга в творчестве Бунина и по жанру, и по своеобразию поставленных проблем, и по тону повествования. «Это не повесть, не роман, не рассказ, — замечал К. Паустовский. — Это вещь нового, еще не названного жанра... Это — слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия».

Пять книг «Жизни Арсеньева», разделенные внутри на сто семь главок, — это своеобразная летопись душевной жизни героя, начиная



с младенчества, первых смутных впечатлений, первых проблесков сознания до юности, исполненной самых поэтических и самых тревожных дум и чувств, рожденных всей сложностью жизни, в том числе — любовью и поисками своего пути, своего призвания.

В одной из ключевых глав поток сложного процесса самопознания вырывается наружу наиболее развернутым вопросом-размышлением: «В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: все-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями; есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то неизвестно, зачем и как) удерживается в нас; есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще — нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и — связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец обнаружится».

Почти полностью приведенная глава помогает понять и ведущие мотивы книги, и направленность художественного внимания автора. Человек наследует опыт предков, обогащает его и передает потомкам — таков философский подтекст книги, отражающий бунинскую концепцию бытия, наиболее полно выраженную в «Освобождении Толстого» (1937).

Проблема памяти, воспоминаний, всегда занимавшая писателя, теперь выдвигается на первый план. В первых редакциях о роли памяти говорилось даже публицистически открыто: «Ничто не определяет нас так, как род нашей памяти».

Необычность жанра «Жизни Арсеньева» связана прежде всего с тем, что многоцветная и трепетная жизнь дана одновременно в нескольких планах: в восприятии Арсеньева-ребенка или юноши и Арсеньева-рассказчика, умудренного художника, прожившего долгую жизнь. Совмещение детского, юношеского и взрослого видения мира создает ту особенную многомерность изображения действительности, которая вообще была свойственна таланту Бунина.

Жизнь ребенка и юноши предстает как непрерывный и многообразный творческий процесс, смутно ощущаемый им самим, проясняемый для нас сознанием повествователя. Направляемые ходом памяти и мыслью рассказчика, мы видим, как постепенно выявляется и обогащается личность при знакомстве с окружающим миром. Поездка мальчика в гимназию по забытой Чернавской дороге, удивление при словах отца, «что вороны живут несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил при татарах», упоминание отца о Мамае и разбойниках — все это неожиданно и остро пробудило в ребенке дремавшее чувство старины, родины, России. «Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознанье, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке... и я вдруг почувство-

вал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...»

Размышления Арсеньева-старшего и разнообразие детских и юношеских ощущений рождают в книге то богатство интонаций, которое передает многогранность сознания и эмоций талантливого человека. Рассказ о детстве и юности героя превращается в непринужденную беседу о жизни, принимающую то форму исповеди, откровения, поучения, то размышления, сомнения, то форму спора, то восторженного изумления, радостного восхищения, то печального недоумения и скорби. В итоговой книге писатель добился той предельной раскованности повествования, к которой стремился давно, еще в рассказах начала века. При этом автор редко навязывает читателю свое мнение. Скорее он приглашает нас вместе с ним подумать о жизни, в которой далеко не все просто, ясно, легко разрешимо. Многое осталось неясным самому художнику.

Внутренний пафос «Жизни Арсеньева» усилен желанием Бунина раскрыть богатство эстетического восприятия действительности и противопоставить его различным рационалистическим представлениям о жизни, в том числе народническим. Однако критическое отношение Арсеньева к народникам, во многом убедительное, осложняется политическим консерватизмом самого Бунина, продолжавшего враждебно относиться к революции и Советскому Союзу. Тенденциозность писателя сказалась не только в изображении харьковского кружка, но и в поэтизации старой России, в затушевывании классовых противоречий, в идеализации тех былых устоев, которые так беспощадно критиковал Бунин прежде — в «Деревне» и «Суходоле».

К счастью, таких тенденциозных страниц в романе немного. Чуткий художник, должно быть, понимал, что по силам его таланту, а что выходит за рамки его эстетического сознания. Не случайно, видимо, он не мог продолжать «Жизнь Арсеньева» и оставил героя на пороге зрелости, на пороге писательского пути, на пороге становления его политического мышления, где-то в середине 1890-х годов. Дальнейшая судьба Арсеньева неизбежно должна была идти сквозь революцию. Но эта великая тема современности не была подвластна Бунину-художнику.

Вместе с тем писатель сумел подметить в Арсеньеве те ущербные ноты индивидуализма и эгоизма, которые приводят его к одиночеству, к потере любимой женщины. Трагедия любви Арсеньева и Лики — в несогласованности их «жизненных миров», их восприятий и устремлений. Оказалось, что объединить свою жизнь, свои желания с устремлениями другой личности еще более трудно, чем найти, открыть свое призвание.

Защищая право человека на самобытность, на выявление своих способностей, художник подошел к постижению тех, может быть, самых таинственных, интимно-психологических рубежей, которые разделяют людей, мешая их полному взаимопониманию и счастью. Не удивительно, поэтому, что в последние годы жизни Бунин так много писал о любви, ее трагедиях и редких мгновениях настоящего счастья.

Энциклопедией любовных драм можно назвать «Темные аллеи» — книгу рассказов о любви, созданную в годы второй мировой войны (1937—1944). «Она говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном, — думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни...» — признавался Бунин Телешову в 1947 году.



В годы тяжких испытаний, в годы жестокости и страданий, которые принес человечеству фашизм, Бунин напоминал людям о любви, о самом прекрасном, значительном и высоком, что есть в мире.

«...Разве бывает несчастная любовь?.. Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?» — В этих словах Натали, героини одноименного рассказа, без нажима, музыкально передан сокровенный смысл бунинской книги.

Рассказы, повествующие преимущественно о трагических коллизиях, не несут в себе безысходного пессимизма. Напротив, они, как всякая музыка, как всякое большое искусство, одухотворяют, очищают, возвышают душу, утверждая истинно высокое и прекрасное, хоть редко и кратко, но озаряющее жизнь.

Всякая настоящая любовь — великое счастье, даже если она завершается разлукой, гибелью, трагедией. К такому выводу, пусть поздно, но приходят многие бунинские герои, потерявшие, проглядевшие или сами разрушившие свою любовь. В этом позднем раскаянии, позднем духовном воскресении, просветлении героев и таится та всеочищающая мелодия, которая говорит и о несовершенстве людей, не научившихся еще жить, распознавать и дорожить настоящими чувствами, и о несовершенстве самой жизни, социальных условий, окружающей среды, обстоятельств, которые нередко препятствуют истинно человеческим взаимоотношениям, а главное — о тех высоких эмоциях, которые оставляют немеркнущий след духовной красоты, щедрости, преданности и чистоты.

Такими эмоциональными зарницами, ослепительными проблесками человечности пронизаны лучшие рассказы сборника: «Темные аллеи», «Руся», «Таня», «В Париже», «Галя Ганская», «Натали», «Речной трактир», «Холодная осень», «Чистый понедельник».

Всплеск духовной мощи и благородства находит выражение иногда в одной фразе, становящейся лейтмотивом, как в рассказе «Холодная осень» («Ты поживи, порадуйся на свете, а потом приходи ко мне»), иногда — в каком-либо решительном поступке, как уход героини в монастырь («Чистый понедельник»), иногда во всем строе чувств, характере и поведении человека («Темные аллеи», «Натали»).

Поэтизируя силу духа, благородство и цельность натуры своих героев, Бунин отвергал фашизм, возвеличивал Россию, ее неприкосновенность и самобытность. В противоположность жестокостям и зверствам нацистов, их расистским теориям о превосходстве арийцев и ущербности славянских народов Бунин в рассказах о любви утверждал истинные духовные ценности, красоту и величие русской женщины, способной на большое, самоотверженное чувство.

Сам писатель в годы второй мировой войны, в годы оккупации Франции, вел себя мужественно. Бунин жил в Грассе, голодал, сильно нуждался (от Нобелевской премии, полученной в 1933 году, уже ничего не осталось), но ни единой строки, несмотря на многочисленные предложения, не напечатал в фашистской прессе. Больше того, он укрывал у себя в доме гонимых людей, слушал запретные радиопередачи, следил за движением союзных и советских войск, делая отметки на огромных картах Советского Союза, развешанных

в кабинете. С особым напряжением следил он за ходом Сталинградской битвы, переходя от безудержного отчаяния к надежде.

«Речной трактир» был создан в октябре 1943 года после кровопролитных, но победных сражений в глубинах России. Нет сомнений, что описание Волги и возглас героя: «До чего в самом деле на с чем не сравнима эта самая наша Русь!» — насыщены эмоциями самого автора, ждавшего изгнания фашистских полчищ из России.

Освобождение Франции и победу русских войск Бунин воспринял как великий праздник. Писатель приветствовал Указ Президиума Верховного Совета СССР, разрешающий эмигрантам принять советское гражданство. Он послал свои книги в Москву для издания, он следил за новинками советской литературы, высоко отзывался о рассказах К. Паустовского и особенно восторженно о поэме А. Твардовского «Василий Теркин».

Однако от предложений возвратиться на родину писатель отказывался. «Поймите, — говорил он, — очень трудно и тяжко возвращаться глубоким стариком в родные места, где когда-то прыгал козлом. Все друзья, все родные — в могиле. Будешь ходить как по кладбищу».

Но дело было не только в старости, хотя и шел писателю 76-й год. Былые несогласия с новым общественным строем России не исчезли. Политические заблуждения давали знать о себе. Книга «Воспоминания» (1950), в ряде очерков меткая и яркая (воспоминания о Л. Толстом, Чехове, Куприне, Рахманинове и др.), оказалась ядовитой и злой в тех главах, где речь шла о революции и о советских писателях — Горьком, Маяковском, Блоке, Есенине, А. Толстом.

Доживая дни почти в нищете, Бунин продолжал напряженно работать: писал книгу «О Чехове», оставшуюся незавершенной, вновь и вновь правил свои сочинения, составлял «Литературное завещание», обращаясь к будущим издателям с просьбой печатать только достойное и отредактированное им.

«Всякий настоящий писатель, — говорил Бунин еще в 1930 году, — конечно, может кое-что сказать о себе не хуже других, ибо непременно должен быть хорошим критиком: ведь его работа каждую минуту требует строжайшей самокритики, ума, вкуса, такта, меры, тончайшего чувствования каждого слова...»

Подводя итоги своему многолетнему литературному труду, Бунин по-пушкински ясно произнес «сам свой высший суд»: «Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И, приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде, — тоже довольно слабой, — что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте, — говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник».

Л. Крутикова

# ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

# Антоновские яблоки

## I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно.

В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...



Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

## II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, — вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.



Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, напри-

мер, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем чёрные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца,— два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

## III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и



рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по

зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.



Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает

мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастного!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

## IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседу. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!



Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лица татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут

лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял, —

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

*1900*

# Деревня

## I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на

шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахору тобаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, — «не плохо, ничего не разбрешет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать, — нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил, — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, — темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здорова́ же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почем?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почем?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

— Нет-с, уж я своего добьюсь, — говорил он знакомым. — Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это, — одна приспала, другая все мертвых рожает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церкового света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка, — так смирно и ласково-грустно, — темнели

тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...



И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне и честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовию уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, — и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану.

Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу, — особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. — Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна. — Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в голубой низменности,



весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи, в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый

севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, — ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-



то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, — да все таких, что смотреть страшно и тошно, — прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство, — на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, — в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. — Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господе!» На железном, радужном от непогоды и времени памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:



Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, — те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидал Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустишие:

тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, — лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодыря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолок. Они отвеши-

вали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищеброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку́ потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...



За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуды! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:



— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, — и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он, «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжевых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радует... Прямо надо сказать — не радует!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала,

хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радует? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну и сунула мне под подушку цигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за цигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженая... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решался:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьми!



Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запрячь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары́ возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, — злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И

Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»



В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, — стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, — стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, — за ней так и осталась эта кличка, — была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрыз-

ганные грязной водой, на все ее раздавшееся в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, по́том... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, — и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо гово́рите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говóрите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с



огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, — стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услыхавши это. — Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью, — ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, — как и многие в городе, — что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич, — начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, — изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли, — анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, — драть шкур не буду.

— Да и времена не те, — вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще, — драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. — Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю, — возразил Кузьма. — Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно, — сказал он. — Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, — ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, — покосился Кузьма на брата, — так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого, — сказал Тихон Ильич. — «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма. — Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!



— Верно! — сказал Тихон Ильич. — Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана, — усмехнулся Кузьма. — Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка, — и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний, — возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь. — Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго. — А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул, — и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», — подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. — Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так, — не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую

кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он. — Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, — важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич, — сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, — а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно, — она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, — противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделываясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда



сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, — сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятналтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», — пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух гитарах, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, — после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, — то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик. Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, — опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы

Дурновку сильнее, — убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет. А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду, — горячо перебил Тихон Ильич, — охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю-Утиную-Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор, — жестяная труба в верхнем углу окна, — был открыт, и порою в



нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно скучно ныть — «как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на́ землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да кляузницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой, — перебил Тихон Ильич, — а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — «с голоду околевает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно. — И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою, — сердито ответил Кузьма. — Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне:

«Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она *и сожрет его весь под тобой*... То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради, — опять перебил Тихон Ильич, — дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говори, — сказал он. — Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще навертывается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но бо-



ным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. — Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, — ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, — и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, — кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал :

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».
И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами. — Так, прошелся ради геморроя, — сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду, — с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, — имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубили, — сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубили-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет, — думал он, — вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, — верно, простыл, стоя вечером на шоссе, — чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, — он показывал



три, — поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними, — приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, — что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом, — караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братушка, — сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом. — Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. — Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку давай, — пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную

свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но верно, к обеду опять польет», — подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением. — Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел не него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.



Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, — вчерашний он только перерыл, переслюнявил, — и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слыхал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, — придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и тряся головой. — Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, — в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполнен-

ных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич, — сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово, — кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика. — Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, — великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из



раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить, — думал он, страдальчески морщась. — Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он. — В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно пробирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, — да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец

всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, — Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, — когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом зо́лотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагревшейся печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, — значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, — и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую ло-



ханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует, — насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшенную кашу... Лицо раскраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, — только стащив нога об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже...

или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой — так и звали все: «Макарка Странник», — зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, — и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключающим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон, — за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежу и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями, — настолько зловещими, что его посещений стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одеже и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмер-



ности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что́ пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубостройное, древнецерковное, властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! —

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом, —

вопил слепой.

Авось грешники покаются! —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал, — в лад со слепым, — крякнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со

слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку, — отрезал Тихон Ильич. — Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее, — ответил слепой серьезно. — Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был



бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и нескаванно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то, — ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, — гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, — а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, — брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, — например, купец Рукавишников, — рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, — и не только по пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, — вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют, — сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!



Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, — сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, — с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах.

Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич. — Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич, — ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво. — Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он. — Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, — сказал он, называя венгерку вендеркой. — Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич. — А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно перегляделл их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...»

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.



— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил, — ответил Дениска с грустной усмешкой. — А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож, — седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, — и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он. — Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич. — Деревня стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов», — с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать, — ответил Дениска спокойно. — Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска. — Приду в вагон, — прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где расчитывать? Под лавкой-то не расчитаешься.

Дениска подумал.

— Вона! — сказал он. — Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, — читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что, — начал он. — Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, — пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, — сказал он, разумея дворовых собак. — Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и докончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать цигарку.

— Что ж, — спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. — Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то, — подхватил Тихон Ильич. — Только, брат, имей в виду, — жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

— Не меньше кур и свиней есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.



— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работящая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много, — сказал он протяжно. — Не знаю, про какую вы балакаете... Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет, — это не твоего, свинья, ума дело, — ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не бреши попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу... — начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки, — решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился, — глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол, — и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно. — А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич. — Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так, — сказал Тихон Ильич. — Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм



скотине задавать. Вот жалко — погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил на селе мужик, — бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугун...

— Чугу-ун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого, — вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик, и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак, Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич. — Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околел, — надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, — надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в

кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с цигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало.

Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар, — точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич. — Ах, голоштанный!»



«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла ево тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделывала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, —кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, — тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными

ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют. Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной...

Голову туманило, — то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность, — то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане, — будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидал два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.



Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугунчик со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась...

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

## II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать. Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя, и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплевывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе ухи оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был

зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей неправедной и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему. — Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, — ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-турецкой войне: о том, как —

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять, —

и как эта орда —

В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденнаго монаршаю милостию *просвещеннаго безнаук природою...*»



Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув цигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил цигарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признанный тип этого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизеи, хрестовые походы, войны религиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастием казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... и самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш, — во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы, — по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин,



а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо, — хмуро и зло жаловался один. — Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да, — гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в цигарку. — Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цигарку и полез в столик.

— Вот, — забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет. — Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру, — годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет, — этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби древо по себе. На энту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ, — сказал Кузьма. — Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажный вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе, — в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!»

Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом Слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидал красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.



Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую серебрящуюся бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие

детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамаши,
какие мы есть несчастные страдащие!
Ах, не дай господь, мамаши,
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»

В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго и что впереди — нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую



простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да, — думал он, — давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от цигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый, — сказал Кузьма. — Поновей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городовой на вокзале отнял, — ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходивших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил примьер-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими

куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. — Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. — Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызшую во рву кость...

«Да, да, — думал он, поднимаясь на гору.— Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопа: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...



На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат, тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и

за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов, — учитель прогимназии, тот, что



так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидал на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цигарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потяну-

лись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшóв... Н-но, анчихрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная, — пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодного напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец, бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие с навозными крышами. Возле изб — рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор.



Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

— Гуляет народ, — задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить —
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжевые портки, и

очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки. — Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Цыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала, — говорил Меньшов, тащась по выгону. — Любит она его без памяти, — дело вдовье, — а он почесть кажный день мордует ее, пьяный... Знать, того сто́ит.

— Это каким же манером — «того сто́ит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень, — сказал Меньшов, кивая на больного. — От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно



скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте, — две длинных лощины, заросших дубняком, — назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колеях, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба. — Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слыхать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатом выгоне, — темный казаковский сад, широкий

двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, — обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, — кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский, — громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. — Его сожгли вчерась... Видно, стóит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок, — и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смирно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать, — ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с



порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада, — сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: «Однако ты умен! — крикнул он. — Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смилостивился — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно

не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам. — Ишь, раздолевается!

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчуг-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семой год так-то!

— Это какой же, — что курицу рубил?

— Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я», — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного.

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять.

— Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи,



как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, — притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, — приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди, — рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу. — Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скгипом»! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу. Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам, — сказал Кузьма, — вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку. — Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю, — сказал он покорно и грустно, — что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. — Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут, — сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал, — строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел, — много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?



— Да дурак, — перебил Митрофан, — булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугунчиком. «Милости просим», — сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотою. Соловьи смолкли, — сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма. — Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю, — послышался голос пекаря, — сколько он от Думы земли чает получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письмённый, — сказал Аким. — Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата, — заговорил Митрофан. — Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город, — радостно подхватил Аким, — и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан. — Чего гогочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. — Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки, — равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет, — подтвердил Митрофан. — Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать, — сказал он наконец. — А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво. — Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого... .

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь, — отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать цигарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лам-



почке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидал широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем,

спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдется по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые то-



поля, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотька», — подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать цигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

## III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! —

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем —

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, — Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день, — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо, — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. — На морды лошадям сигает...



И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев, — Мысовых, как назвал их Оська, — и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, их-него брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились

крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвекольнику, милому позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводить. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец, не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.



— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, — и готово. Дело-то, кажись, просто, ан, поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю, — сказал Кузьма. — А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, — быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. — Одна мышь поплоше несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?»

— Выучил?

— Выучил...

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой, — сказал Кузьма, — а не сядой.

— Ну, сидой, — согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он ухи найдет, — беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то, — говорила она, легонько вздыхая. — Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику. — «Видно, иди», — говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно неслось на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась, — и он посматривал на небо:



— Портится погодка. Дожжок теперь для зеленей первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проснулась эта ведьма на-рани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал, — дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по

гумну, пáдрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге, — то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встревал не только во все мирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей, — говорил Серый. — Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и бреши.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню, — «милое за немилое сбывал». И опять с резоном: дождись-ка ее, попробуй! — «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он. — Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то



сидит... ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, — возражал, раздражаясь, Яков. — Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера́. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут, — ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь, — сказал Яков, — наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то, не мед, — говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он. — Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик. — Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой-то норовит, а не мы, — отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладать?

— Не время его накладать, — твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.



— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне нечего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что ж это, — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь, — сказал Серый, держа вилы наперевес. — Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды,

гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюшка-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу — опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепужались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужо-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних подштанниках, — почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю — и он сзади идет: снег белый — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, — куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! За-



катилась — насилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас окон-фузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выблядков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить, — был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю пояснику ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! —воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. — Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера. — А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, — совершенно лысый мужик в огромной шапке, — писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать, — в слезы.

— Город Серпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку — поверх пенсне. — Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре — дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. И Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тороваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, сла-



боволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да до́ веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, — угольком краснеет его трубка; хозяйка, — смирная, молчаливая, с придурью баба, — тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок, — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом, поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, наросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос, — голос человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачи-



вали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что́ говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью:днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи — у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать, — скажешь ему. — Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам, — ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич, — пробормотал он, отвертываясь к окну. — И особливо после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, — только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что



оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысинами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, — о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его, — его ум, зор-

кий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому», — и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь, — она улыбалась только ему одному, — негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси табе господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.



— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался», что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на цепи» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только слу-

чайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть — и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжко вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегряшения...» Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, — привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо



Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпáлись по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, околел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услыхать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь, — зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней, — бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, — руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза раскраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна́ сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда



топили печку, — и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акации, предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок, — найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, — и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, с жел-

тыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и настигла бы, да «спасибо, снег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны... — подумал Кузьма. — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата, — какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя, — сказал он, подумав. — Я и лавку с двором с первого марта передаю, — поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти россказни брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый



и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на цигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинами. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого, — прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете, — сказала она с дрожью в голосе. — Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. — Куда ж, по-вашему, мне

деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам, — сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места. — Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. — Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат, — ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь, — ответил Кузьма тихо. — Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!



— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, — картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки уверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: уверх да уверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же, — сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение, — полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич. — Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потеребил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, — какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, — твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. — И прошу тебя, братуша, — прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того

перебирайся сюда. Га́рно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, — за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, — и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду, — сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки, — у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломаю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, — слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, — это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, — нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич. — Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма. — Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит! — продолжал Кузьма, не слушая. — У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»



— Знаю! — крикнул Тихон Ильич. — Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю, — в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и ленту одну подам, да за ленту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальцетом. — Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой, — строго спросил Тихон Ильич. — У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал, — продолжал Кузьма, не слушая, — много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма. — Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат, — сказал он, и скулы его покраснели. — Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови как когда-то кричал на него Кузьма. — «Как люди, так и мы!»

Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся, — думал он безнадежно. — Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружком со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич, — ласково сказал Кузьма, — что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал, Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью, — тихо ответил Тихон Ильич. — Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им,



мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, — кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, — будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить, — отозвался Тихон Ильич страдальчески. — Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. — Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и сонне. Ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищии...

— Царие и нищии! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *а она взяла да и истаскала его наизнанку...* Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей.* Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У

печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету, — говорила Молодая. — А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя, — певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил, — ответила Молодая. — Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьмето Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном. — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи, — шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут, — сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.



Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай, — усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Може, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,
Зеленóм виноградику,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенек...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток.

— Вот, невестушка, — сказал он смущенно, — на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего, — кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугунчик положил, — пробормотал он.

— Спасибо, батюшка, — еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай, — сказал Кузьма. — Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно, — негромко ответила Молодая. — Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох, —сказал Кузьма, — измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

— Дешевле не дешевле, — мертвых с погоста не носят, — просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину. — Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш, — тут пива не сваришь!» — подумал Кузьма и сказал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун каши — все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, — тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега



крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон, — они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем концу вечера,
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеням, сладостно заломило скулы, и глаза́ налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружко́, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на кажном углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение,



мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шалями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снегу, — в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всея твари содетелю... — говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос. — Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавый... Иакова Рахили сочетавый... подаждь рабом твоим сим...»

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни домы их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дро-



жала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!

*Москва*
*1909—1910*

# Суходол

## I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневе, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выходив, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужасти!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!



— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. — Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — когда было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськом, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Со́шки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка, — скромно говорила она. — Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе.

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими



словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над-которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что-то ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды



ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

## II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у

открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей матери Одигитрии-Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, — на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и



скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, — туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы... Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйте-с, — окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— Où êtes-vous, mes enfants?[1] — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

## III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

---

[1] Где вы, дети мои? *(франц.)*

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а *он* стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в по-



лураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки, — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревни, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вкруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе сладчайший, помилуй мя, — шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и разражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно

поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое. Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья постращать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?



— Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью; но порою запиналась, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомню-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, — крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, — энтого и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи, — он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, — невеселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

## IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один



Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалася...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, — сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, — в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое, — бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хочете — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и

есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал, куда деваться, одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, — минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, — а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, — «уж не Петенька ли из полка в побывку», — или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись, — рассказывала Наталья. Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуды... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, — особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А гро́зы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, — боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...



Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, — сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи, — когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идьите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «Maître corbeau sur un arbre pershé»[1], — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья, и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, — волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж, — говорит раз барчуку, — ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду». — «Ан нет». — «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Первa, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказался...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего

[1] «Ворон, взобравшись на дерево» (*франц.*).

этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, — обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, — и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, — значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Середнюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, *«Закатилось солнце красное за лес...»*. А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва



ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят.... молчит. «Проси прощенья». — «Виноват, сударь». А барчук задвохнутся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то «сударь»! — кричат. — Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья. — Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук, — а, по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась после своей провинности...

## V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи, и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и

делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, — помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. — У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. — Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фóра! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. — Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, — возразил он, насупясь. — А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.



Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца-барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем,

создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, — конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым пре-



странно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, — сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. — Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому. — «Смотри!» — А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хуторя — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженой голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалося солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а

чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дóма, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой», — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием в сердце и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...



А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряс-

лась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

## VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями,



маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошеных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы

вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми, — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, — пойми, змея, что́ могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка. — Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий:



«Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь, — сказал он безразлично, играя черными глазищами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он. — Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

— Смотри не напейся, — рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил, — как равному, кинул ему Герваська. — Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на́ вечер. Как дело на́ вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспременно помру вечером, — попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не



он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да, — волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. — Да, да, смерть грешнику люта... Да не за́йдет солнце в гневе нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнущих табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел

Герваська — без казакина, заспанный, «злой как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, заместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! — перебил Герваська. — Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он. — Это ты должóн уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, — и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

## VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.



В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добрé ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженой девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, — спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было, — повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, — маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня, — барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она. — Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера,



вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала», — барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уменье: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с, — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколодная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж, — сказала она задумчиво. — И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро — и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а

хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, — а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелиця...» Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, — он только усы носил, — тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, — тяжелы были его сапоги, — в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, ко-



роткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

Як зійшла зоря вечіровая
Та над Почаевом стала,

как сама божья матерь святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила, —

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого́
Миленького,
Що я полюбила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестра-

дала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть «толконул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай дóвеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образумься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай не думай — по-нашему не будет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. — У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на



глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклокоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже крикóм, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. — Тучá идет нескаванная! И думать не моги замуж собираться!» — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Исусе, — скороговоркой шептала она. — Матушка царица небесная! Угодники божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, — недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

## VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную

шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, — мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, — с прямо вытянутыми ногами, — с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, — вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не каляйся: видно, уж придется подгузники скидавать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах



теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, — и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, — все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Топечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но

все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, — уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость



крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темняет... пора, — говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, — даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, — на случай зова, приказаний Клима, — мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску, — кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окияне, — бормотал он глухой зловещей скороговоркой, — на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучнища, на ей серая рунища...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою

прямо чудеса над одержимыми недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что́ она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что́ держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. — Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!



И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче божий Дрониe, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Клпчинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь. — Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась,

вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинёный монах», как он называл себя.

## IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». — «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!



И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так

это сознание, что совершается нечто *неминучее,* что близко осуществление страшного сна ее, — в Сошках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что́ именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминучее свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался



ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучнища, серая рунища...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, — и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось,

Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии, — ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворне и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь



дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, — собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастие не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к ней, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, — крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окроваленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

## X

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полушепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвижными ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на



наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах многих других усадьб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, — ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ве-

тер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, — единственной жилой горницы, — жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, — если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясеней, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно:



вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

*Васильевское*
*1911*

# Сверчок

Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, полигурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке, и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкал и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина, в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукиванье по хомуту, который



делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, чтобы видней было обоим, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по́ локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, — в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, наторелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он,

вставал ли, разница была невелика, — так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, — тоже от старости, — неловко, согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» — «быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели послышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесток еще великолепнее, а нежное, милое лицо его беременной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами: потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, — уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, — но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

— Однако ты, брат, ловок, — прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. — Однако ты, бъат, вовок. Я небось постарше тебя немножко, — сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Что? — притворно-грозно крикнул Василий, сдви-



гая брови. — Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп — так в богадельню.

Все улыбнулись — даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, — и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил — и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном — на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра, — и серьезно спросил:

— Что это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказал Сверчок, поднимая голову. — Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось, какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

— Ведь он замерз, кажется? — спросил Ремер.

— Я его знал, — ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: — Да он и не сын ему, говорят, был, — Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

— Это дело иное, — так же просто сказал и Сверчок, — это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он,

может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня, — сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «сударыня», — вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Кура́ сильная была? — спросила кухарка.

— Никак нет, — сказал Сверчок. — Туман.

— Как туман? — спросила барыня. — Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм! — сказал он. — Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, — картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне, — это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно? — спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад, — ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая цигарку.

Сверчок мельком, старчески-строго глянул на него.

— Оставь мне затянуться, — сказал он и продолжал: — Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке, — он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, — ну, работали и работали, а квартеру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличаться, немножко в порядок себя привесть, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак на́вечер, а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте, — скупой барин-то был, огарочка не разживешься, — чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

— А вас Ильей зовут? — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.



— Ильей-с, — ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос, — Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все, — вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, — шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» — Нахлобучил мне шапку по́ уши, надел свою, ремешком подтянулся, — красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! — взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уж совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс, — как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, — да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру, — в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое, — чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные, да и поддевочки на шереметьевский счет шиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да известно, дело молодое, по себе небось, сударыня, знаете, — как свою гордость не выказать? — опять пошел. Входим в деревню, — конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жилье, — он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено́ показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки на́ четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жилье, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая что ни на есть волчиная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затя-

нулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня, — продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе, — мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, агромадный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибиковским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная, — кто не блудил, все блудили, — а я то́ хотел сказать, какую му́ку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо, — всякому, понятно, свой живот дорог, — но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня господь! Я, понятно, думал, что мне первому конец, — много ль во мне духу, сами изволите видеть, — а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками цигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, — до нашего, то есть, брата, до дворового, — так вот он тоже замерз, под городом нашли, — лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, и во рту лед, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сеттер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой, шубу свою собст-



венную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — никого не докричишься! Он вскорости еще пуще меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! — кричу. — Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету — одна челюсь голая — и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упущу... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, покатились, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались — вдруг он и говорит: «Это что, отец? Бибиковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, — я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж в верстах в десяти от Огневки, в степи пустой, — тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай». — «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет, — сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. — Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, подержись хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня! Нет, — валится с ног долой, да и только! А я бы и помер

от этакой страсти, да уж не могу... не в сустоянии... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю, стой, нет, шалишь, не отдам, — мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, — картуз-то уж давно свалился, — по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, — сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, — думалось так... принесу на село... может, оттает, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. — Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбавшуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый-с, — ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было...

— А у меня вон целых семеро, — нахмуриваясь, сказал Василий. — Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело, — еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило. — Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до



села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело, — сказала кухарка, когда он кончил, — не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка, — ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи. — Не до того.

*Капри*
*30 XI 1911*

# Захар Воробьев

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было сорок лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня, — говорил он порою, — да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистый, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор



справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво прострочeнной груди еще не слиняли. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жёсток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипóво и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы таперь для праздничка выпить маленько», — шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес», — ответил кучер. «Не на что, протратился, и так в грузовом вагоне ехал», — сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломанным носом, — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестевшие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами, — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что́ делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две та-



ранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно́! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошенье. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужашная, пыль по дороге, как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнущей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутыль, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

— Ну, являюсь, — говорил он, прожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, — Захар повел рукой налево, — урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь». — «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слухается, доедает...

— По морде бы его этой грушой, — сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку. — Стоит-и лопает! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот

самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать, какой есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к ему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жане, где тут у нас безмен, что́ было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте вспросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занесть в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Левонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтот день пропал бе́з вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется, — ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно. — Дай доказать-то! Я свою время знаю, — выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблуков, — он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял



обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина!» — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. — «К допросу. Подойди поближа!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж о́сты вешать». — «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, — и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушшество, говорит, моя, за сына я не плательшица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки». — «А сын-то чей же?» — «Мой». — «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушшество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на́ хлеб, на́ воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Левонов? Подходит дочь его Винадорка. — «Иде отец?» — «В клети, после обеда отдыхает». — «Беги, зови его суда..Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Близко, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. — Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, — он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы гу́стые,

седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошушукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, — вся писаная, в яблоках!» Смеется, моршшится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит...

— Форсит-то, форсит, — опять перебил урядник, вынимая часы, — а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он. — Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка. — Допивай, допивай!

Захар дохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он. — Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо. — Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутыль за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты мине, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.



— Таперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и бородка клинушком. И еще пуще старика моршшится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возьмись глушить его большими стаканáми... Вызывают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий». — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конешно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, вспрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». — «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого». — «Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вóроны, на срубленных деревах возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, — у того, по крайности, степя аграматные... А старик кричит, — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил

бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц, — и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирал горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то



битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. — Шел он недавно по паровому полю. Глянь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно; доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. — Раз тебе вспрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран заваляет, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас:

«Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я табе говорю, не голоси! — говорил Захар. — Всякий свою стежку то́пча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь. — Как подохли все!

Ему захотелось рявкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»



И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светоноснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, — выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих бельм с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнущие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не

дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачнейшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

*Капри*
*Февраль 1912*

# Лирник Родион*

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые каза́чки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во

* Рассказ печатается по изданию: И. А. Бунин. Собр. соч., т. 3. М., Изд-во «Правда», 1956, с. 43—49.

втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтораста хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко: днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на пояснице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, высыпавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и



строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристрявший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псальмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью матерь, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спо-

койные и грустные укоры, — «ой ти, сыну, мій сын, ты, дытына моя!» — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса заныл первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что́ именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й быстрії ріки, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, зостались діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому



сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сирітки — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сирота робить — работа ні за що, а люді говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженой, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпеньем и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. — И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой, пішла сирітка темними лугами, — вмивається сирітка дрібнимі сльозами. Не змогла сирітка мачусі вгодити, — ой, пішла сирітка по світу блудити: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом:

— Тай зустрів її Христос, став її питати: «Куди йдешь, сирітко?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сирітка, бо далеко зайдешь, вже ж своєї матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матінка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сирітка на той гроб ридати: чи не обіз-

веться в гробу рідна мати? Обізвався янгол, як рідная мати, та й став їі стихо, словесно питати:

— Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
— Ох, це я, матінко,
Прийми мене к собі!
— Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сирітко,
Ні їсти, ні піти,
Тільки велів господь
В сирій землі гнити!
Пішла б ти, сирітко,
Мачухи б просила:
Може б змилувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж їі просила, я ж їй годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-бог янголів од себе, — сказал он торжественно, чистым и звонким голосом. — Візьміть ту сирітку до ясного небе, посадіть сирітку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по її духу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закиньте мачуху
У пекло глибоко!



Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

— Слухайте ж, люде: хто сироти має, нехай доглядає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Всходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

*Капри*
*1913*

# Братья

Взгляни на братьев, избивающих друг друга.
Я хочу говорить о печали.

***Сутта Нипата***

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в кокосовых лесах. Слева, в их тенистой дали, испещренной солнечным светом, под высоким навесом перистых метелок-верхушек, разбросаны сингалезские хижины, такие низенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блещет золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней грубые паруса первобытных пирог, утлых сигароподобных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого прибрежья... Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследникам земли прародителей, как и теперь еще называют Цейлон, зачем им города, центы, рупии? Разве не всё дают им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи — на севере острова — ловят жемчуг, опускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые заменяют лошадей, — возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осененным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэнди, в Нурилью.

На левую руку рикши, между плечом и локтем, англичане, нынешние хозяева острова, надевают бляху с номером. Есть простые номера, есть особенные. Старику-сингалезу, рикше, жившему в одной из лесных хижин под



Коломбо, достался особенный, седьмой номер. «Зачем, — сказал бы Возвышенный, — зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести?» — «Затем, — ответили бы монахи, — затем, Возвышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что́ от века призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о них». Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка и на женщину; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая кровавую пену, пачкая усы и губы, бегал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски знал плохо, названия мест, куда надо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки и высоки, оглобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в конопатых руках, задумался о делах, загляделся — и вдруг злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чаянии удара. Но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в

лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело пахнут в оградах старых буддийских вихар, крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие туберозы, такими яркими самоцветами переливаются толстогорлые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славило бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер — от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, — и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший? Ночь быстро гасила сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанным рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандального дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной



любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправой прежней. Зубастая старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же неразумной любовью и жалостью. Возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась порядочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голое кофейное тело. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, круглоликую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услыхав о смерти отца, — он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцам. «Не забывай, — сказал Возвышенный, — не забывай, юноша, жаждующий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его — от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива позавидовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок отбегался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху — и, любуясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова; потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, желание которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть желание имущества, а желание имущества — желание благополучия. Но

однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную весть: невеста его исчезла — пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Коломбо, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой сединой, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была пикейная. От него нельзя было добиться правды, а женщины, девушки все слабы, как все реки извилисты, и молодой рикша понимал это. В столбняке просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бегал, жадно копил деньги — и нельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою беготню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк снялся с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его, — вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшами, под многоствольным баньяном на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баньян, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнущей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, нежно-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбородка подняв острыми углами колени, положив на них руки, а на руки — свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалоу, испе-



щренных светотенью, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, вперегонки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, — и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресниц сквозь блестящие стекла. Он сел умело — сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лунке, назвал Йорк-Стрит. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но взгляд странен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок полдень, — так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зеленела и цвела над бунгалоу, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками, пресытили воздух теплом и благовонием, — лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он

вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидал концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов — и уже бетель? Не ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот, — трусливый, как все сингалезы, но и настойчивый, — только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

— Бетель! — повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечного дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арекового плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедовал Возвышенный. Да, но что знал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди женщин и нищих, слушал жрецов, читавших на древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал, только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что молился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежачей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а потом клал на жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжко заработанных монет. Но бормотал он равнодушно, — он ведь только боялся картин на стенах кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индусскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Сунув бетель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменчивый, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину



хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от него. И англичанин опять уступил, — он рассеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положив колено на колено. Прокатила двуколка, запряженная серым горбатым бычком, — под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепеннике, шитом золотом. Великан-афганец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакине и огромном розовом тюрбане, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою — целая куча коричневых тел молодых рабочих. Тощие, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли ногами, шагали у колес, точно мумии старух. Шли каменщики, дюжие черные томилы... «Па́года», — разумея чайный дом, сказал англичанин под теми патриархальными деревьями, что растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кетмий, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша банным благовонным теплом полдня и бессмыслено поводя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, вынул из-за передника тряпку, вытер ею окровавленные бетелем губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сложив ее бинтом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, думал... «Тела наши, господин, различны, но сердце,

конечно, одно», — сказал Ананда Возвышенному, и, значит, можно представить себе, что должен думать или чувствовать юноша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы — любви к женщине, уже вмешавшейся в жизнь, быстро бегущую за радостями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, но ведь Мара и залечивает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, но ведь Мара и разжигает человека снова схватить отнятое или другое что-нибудь, подобное отнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в витринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового дерева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапинах шкуры пантер. А рикша, что-то думая или только чувствуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясочку. Ровно в полдень англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе поесть, а сам ушел в контору большого европейского пароходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как делают это женщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурманенный, сидел он в сквозной тени против трехэтажного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, увидел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в бинокли на гавань — и вот за крышами пристани показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво, отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши номер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двадцатидневного плавания в Коломбо — и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с теми двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Виктории, к крытой пристани, и опять побрел по улице рикша — на этот раз к отелю, где в эту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой развевали, мешали с запахом кушаний вер-



тевшиеся под потолком весла, ело и пило много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тени женоподобные сингалезы, навязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни, — один даже таскал за собой на шнурке и продавал зверька в шубке из длинных колючек, — и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестевший напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными панталонами и белой обувью. «Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы, — сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания.— Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их, — сказал он, — желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезней были на серых лицах шедших к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатить на рикшах на берег океана, в Сады Корицы, к индусским храмам и буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, но порою проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вожделение, пристально гля-

дели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца взрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, надетых на голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое ожерелье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвенят журчанием древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут мириадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля, — глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты — к саду Гордона, куда даже не зашел, — только посмотрел в ворота на монумент и на аллеи, — а от сада Гордона — куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу центов. В самый истомный час послеполуденного тепла и света, когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину, не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий, — и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных



матросов из Европы и буддийских монахов — бритых, худых, с безумными глазами, в канареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опахалами из листвы священной пальмы. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то, — вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в цирульне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым глянцем от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте были полны, англичанин жил в простом, за Невольничьим Островом, — и тут еще раз пробежал рикша мимо баниана, под который сел он нынче утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные ограды и голландские крыши бунгалоу, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалоу, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен — это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадуры, высокий

черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махнула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, — совсем как у той, страшной, которую он представил себе — медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота — уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было понять, что несется впереди встречный. Потом слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая лагуна, закраснели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкарой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босоногие полные слуги, похожие на нянек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и махалась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их



холодные, мокрые лбы. Рикша номер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздавшего гостя радостным ропотом. Гость выскочил из коляски и вбежал на балкон. А рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, — в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, — на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обменяться шариками из риса! Его, внизу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее — и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать — на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей.

— Проснись, проснись! — кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков. — Стряхни с себя обольщения Мары, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы — от любви, от привязанности сердца — убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдемская земля, приют первых людей, познавших желание, но он, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и раненного самой острой стрелой — жаждой любви и новых зачатий для этого древнего мира, где от

века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадуры, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе с своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми деревянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колтуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнул в глубине под ним дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось, извивалось, стукало в крышку тугими кольцами и шуршало.

Зачем он захватил с собой колясочку? А он таки захватил ее — и ровным, сильным махом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки Форта, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная вышка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный, сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до прибрежья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил тонкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. И она была, — помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом, — она была, при всей своей малости, необыкновенно сильна



и злобна, а теперь, после того, как ее помотали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стукала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой, что после него даже обезьяны разражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огни города.

Шум океана хлынул ему в голову — и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжко, с кровью стошнило — и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть — и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц, две пары гребцов гнали к гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши номер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены пароходного бока, взбежал он по длинному трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал, — это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычайно прошу вас!» — возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не видящие и беспокойные. «Подождите до послезавтра, — сказал капитан, — послезавтра будет немец-

кий почтовый пароход». — «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно, — ответил англичанин. — Этот климат изнуряет меня, я болен. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем, что чувствует всякий нервный человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту тонкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложили англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрасной. На скорую руку разложивши в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро тонуло в темноте. Пароход уже снялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к низменному берегу, к складам угля и к черной гуще тонкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и печаль туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, тошнотворно-благовонный, мягкий ветер. Внезапно молчаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижины под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянулся на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свинцовую даль океана за молом — и быстро пошел назад, в каюту.

Старик-лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за ее занавеску. Англичанин сидел в складном холщовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в ней золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо, и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы



обтершись губкой, насыщенной водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щетками свои черные волосы на косой ряд, надел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили его преувеличенно любезно, друг перед другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень нравится русский стол, что он был в России, в Сибири... что он вообще много путешествовал и всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, на Яве и на Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до странностей — вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно явившись на пароход... За кофе он угощал моряков коньяком и ликерами, принес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о колониальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Давно потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Коломбо. Теперь пароход был в безграничной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мостиком. И тьма резко чернела в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы — влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного — и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал — двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и несказанно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной чернотой заливало горизонты — и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довремен-

ный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы каменел на минуту.

— В сущности, это страшно! — сказал он своим мертвым, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери, зиявшей темнотой. — Очень страшно, — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. — И страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не можем, разучились чувствовать, как это страшно.

— Что именно? — спросил капитан.

— А вот хотя бы то, — ответил англичанин, — что под нами и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия... О, — строго сказал он, вглядываясь в темноту, — и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко — быть капитаном? — серьезно спросил он.

— Нет, почему же, — ответил капитан с притворной небрежностью. — Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

— Скажите лучше — от нашей тупости, — сказал англичанин. — Стоять вон там, на вашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда-то в тьму ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг, — это безумие! Но, впрочем, не лучше, — прибавил он, опять заглядывая в двери, — не лучше и лежать внизу, в каюте, за тончайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается!

— Однако кроты не плавают по всему земному шару, — усмехаясь, ответил капитан. — Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроволочным телеграфом... Вот хотите — я буду сейчас говорить с Аденом? А ведь до него десять дней ходу.

— И это страшно, — сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика. — Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не



боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему: ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти — ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями — и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что и убийца, но даже не думаю о них никогда.

— А звери, дикари — думают? — спросил капитан.

— Дикари верят, что так надо, а мы нет, — сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает, потом валит на бок, расступается — и пол все глубже уходит из-под ног. Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевоту и поглядывая на своего странного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали браться за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражая своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика-лакея, убиравшего со стола.

— Да, да, — сказал он, — нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх! Бога, религии в Европе давно уже нет, мы, при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни, и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту боязнь, увеличить ее — и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же назвал страшным, — сказал он, показывая на открытую дверь, за которой шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с носа и валившая скрипящий переборками пароход то на один, то на другой бок.

— Это на вас Цейлон так подействовал, — заметил капитан.

— О, несомненно, несомненно! — согласился англичанин. — Мы все, — коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, — мы все, спасаясь от собствен-

ной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силимся восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии, ее картинами и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с притворным восторгом на желтые груды Акрополя, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных капищах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию — и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог бы поклоняться разве только им, этим страшным богам нашей прародины, — сторукому Браме, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря Востоку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей, в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии покупал девочек в месячные жены, в Китае бил палкой по головам беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Анарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу болезнь печени, — только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески-непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая и бытие, и смерть, и божественное величие вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колониальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира, Сидона, нового Рима, английского или немецкого, повто-



рится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возомнившему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму — Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, — Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой вселенной, которой мы не постигаем, — и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность превыше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о грядущем всемирном братстве и равенстве, — и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячечном мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, в запахах, в этом страшном Все-Едином, — только там понимаем в слабой мере, что́ значит эта наша Личность... Знаете ли вы, — сказал он, останавливаясь и блестя очками на капитана, — буддийскую легенду?

— Какую? — спросил капитан, уже тайком зевнувший и посмотревший на часы.

— А вот какую: ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны — и ворон, томимый «желанием», пал за ним, и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидал, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, — и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

— Да, это ужасно, — сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо донеслись отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще минут пять, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подошел к

стене, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышнее, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реи. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, подымаясь и опускаясь, — и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

*Капри*
*1914*

# Грамматика любви

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и громыханию бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валек левой пристяжки порою скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

— К графу будем заезжать? — спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

— А зачем? — сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

— Да чай пить...

— Не чай у тебя в голове, — сказал Ивлев. — Все лошадей жалеешь.

— Лошадь езды не боится, она корму боится, — ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч и уже накрапывало — эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая; уже пахло горящей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоте, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвóщинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка! — заметил Ивлев шутливо, слегка конфузясь своего признания. — Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». — «Да? — сказала графиня, не слушая. — Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешан, и я вполне верю этому — просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, осохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвощинский умер, — думал Ивлев. — Надо непременно заехать хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что за человек был этот Хвощинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков-помещиков, сверстников Хвощинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, — и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати — не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит — это Лушка насылает грозу, объявлена война — значит, так Лушка решила, неурожай случился — не угодили мужики Лушке...

— Ты на Хвощинское, что ли, едешь? — крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

— На Хвощинское, — невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. — На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку, в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд — глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо...

А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревцо, которое зовут «божьим деревом», — и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

— Говорят, она тут утопилась-то, — неожиданно сказал малый.

— Ты про любовницу Хвощинского, что ли? — спросил Ивлев. — Это неправда, она и не думала топиться.

— Нет, утопилась, — сказал малый. — Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей сшел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

— А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... Ишь как лошади-то уморились!

— Сделай милость, — сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, — только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем закипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева — почти черная, с голубыми просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.



Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, — только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев, сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» — подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказалось в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую переднюю.

углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

— Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, — запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизку дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

— Эту книжку я, к сожалению, не могу продать, — с трудом проговорил молодой человек. — Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

— Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? — сказал Ивлев.

— Пожалуйста, — прошептал молодой человек.

И, превозмогая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, — читал Ивлев. — Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. — Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью. — Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. — Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. — Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет



самим себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак — печаль. Вереск-лед — твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница — сладостные воспоминания. Печальный гераний — меланхолия. Полынь — вечная горесть»... А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Грамматику любви», и сказал с деланной усмешкой:

— Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, — жена дьякона, что молодой Хвощинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» — подумал он. И, вынув из кармана «Грамматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице.

Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Грамматику Любви.

*Москва*
*Февраль 1915*

# Господин из Сан-Франциско

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него было тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся нас-



лаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere[1]; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все

[1] «Смилуйся» (*лат.*) — католическая молитва.

палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми



прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, — наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка

неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен, — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятного восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таила в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away![1] Via![2]

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных

[1] Прочь! (*англ.*)
[2] Прочь! (*итал.*)

парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться;



дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна! прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруццских волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой каюткомпании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, — уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, — только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со

всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсинных деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, посе-



лившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»[1], прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

[1] Да (*англ.*).



А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— Ha sonato, signore?[1]

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...[2]

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему

[1] Вы звонили, синьор? (*итал.*)
[2] Да, входите... (*англ.*)

горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, женином, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшед-



шими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, — как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась ко́робом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом,

потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, — его больше не было, — а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già é morto»[1], — сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О, нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехав-

[1] Уже умер (*итал.*).



шие из Сан-Франциско. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, — оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, — потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. — Partenza![1] — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, — и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

[1] Отправление! (*итал.*)

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

— На sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, — принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, квёлый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, — целую ночь играл в кости в траттории, — и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, — тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так



ществённо виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по

обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццских горца. У одного под кожаным плащом была волынка, — большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как по-



гребальная месса, и ходившим траурным от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что́ было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы

приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

*Октябрь 1915*

# Казимир Станиславович

На пожелтевшей визитной карточке с дворянской короной молодой швейцар дешевой московской гостиницы «Версаль» кое-как прочел только имя-отчество: Казимир Станиславович; дальше следовало нечто еще более трудное для произношения. Повертев карточку в руках, он заглянул в паспорт, поданный приезжим вместе с нею, пожал плечом, — никто из приезжающих в «Версаль» не предъявлял визитных карточек, — бросил то и другое в столик и опять стал глядеться в серебристо-молочное зеркальце над столиком, взбивая гребешком свои густые волосы. Был он в поддевке и расчищенных сапогах, золотой позумент на его картузе был засален, — гостиница была и дешевая и скверная.

Казимир Станиславович выехал из Киева в Москву восьмого апреля, по чьей-то телеграмме, заключавшей в себе только одно слово: «Десятого». Деньги у него откуда-то взялись, сел он в купе второго класса, серое, тусклое, но, верно, дававшее ему ощущение роскоши, комфорта. В дороге топили, и это вагонное тепло, запах калорифера и тугое постукивание молоточков в нем могли напомнить Казимиру Станиславовичу другие времена. Порой казалось, что вернулась зима, белая, очень белая метель заносила в полях щетину рыжих жнивий и большие свинцовые лужи, где плавали дикие утки; но метель эта часто и неожиданно прекращалась, таяла, поля прояснялись, за облаками чувствовалось много света, а на станциях чернели мокрые платформы и кричали в голых тополях грачи. Казимир Станиславович на каждой большой станции выходил к буфету, возвращался в вагон с газетами в руках, но не читал их, а

сидел и тонул в дыму своих толстых папирос, горевших жарко, с искрами, и ни с кем из соседей, — одесских евреев, всю дорогу игравших в карты, — не говорил ни слова. На нем было осеннее пальто с обитыми карманами, очень старый креповый цилиндр и новая, но грубая базарная обувь. Руки его, характерные руки привычного пьяницы и давнего жильца подвалов, зажигая спички, тряслись. О бедности и пьянстве свидетельствовало и все прочее: отсутствие манжет, заношенный бумажный воротничок, ветхий галстук, воспаленное и донельзя измятое лицо, ярко-голубые слезящиеся глаза. Баки его были крашены плохой коричневой краской, вид имели неестественный. Глядел он устало и презрительно.

В Москву поезд пришел на другой день совсем не вовремя, опоздал на целых семь часов. Погода была неопределенная, но лучше и суше киевской, с чем-то волнующим в воздухе. Казимир Станиславович взял извозчика без торга и велел везти себя прямо в «Версаль». «Я, брат, — сказал он, неожиданно нарушая свое молчание, — эту гостиницу еще со студенческих времен знаю». Из «Версаля», как только внесли в номер его корзинку, перевязанную толстой веревкой, он тотчас же вышел.

Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа... Одиноко человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер в чужом людном городе! Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, снова увидел вдали чугунную фигуру задумавшегося Пушкина, золотые и сиреневые главы Страстного монастыря... В кофейне Филиппова он пил шоколад, рассматривал истрепанные юмористические журналы. Выйдя, постоял в нерешительности, глядя на огненную сквозную вывеску кинематографа, сиявшую вдали по Тверской в синеющих сумерках. Потом поехал в ресторан на бульваре, тоже знакомый со студенческих времен. Вез его старик, согнутый в дугу, печальный, сумрачный, глубоко погруженный в себя, в свою старость, в свои мутные думы, мучительно и нудно помогавший всю дорогу своей ленивой лошади всем существом своим, все время что-то бормотавший ей, иногда ядовито укорявший ее, и наконец довез, — свалил с плеч очередную тяжесть и глубоко вздохнул, принимая деньги.

— А я не разобрал, думал, тебе в «Брагу», — мед-



ленно поворачивая лошадь, проговорил он даже как будто недовольно, хотя «Прага» была дальше.

— Помню, старик, и «Прагу», — ответил Казимир Станиславович. — А давно ты, верно, ездишь по Москве!

— Езжу-то? — спросил старик. — Пятьдесят второй год езжу...

— Значит, может быть, и меня возил, — сказал Казимир Станиславович.

— Может, и возил, — ответил старик сухо. — На свете народу много, всех вас не упомнишь...

От прежнего ресторана, известного Казимиру Станиславовичу, осталось одно звание. Теперь это был большой, низкопробный ресторан. Над подъездом горел электрический шар, гелиотроповым, неприятным светом озарявший лихачей второго сорта, наглых и беспощадных к своим запаленным, костлявым рысакам, тяжело ревущим на бегу. В сырых сенях стояли горшки с тропическими растениями, из тех, что переезжают с похорон на свадьбы и обратно. В лакейской к Казимиру Станиславовичу кинулось сразу несколько человек и все с такими же густыми клубами волос, как у швейцара «Версаля». В большом зеленоватом зале со множеством широких зеркал и с малиновой лампадкой, теплившейся в углу, было еще пусто и зажжено всего несколько рожков. Казимир Станиславович долго сидел один. Чувствовалось, что еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер, слышалось с улицы цоканье копыт по мостовой; однообразно плескался среди зала фонтанчик в аквариуме, где ходили облезлые золотые рыбки, откуда-то снизу, сквозь воду, освещенные. Белый половой подал прибор, хлеб, графинчик холодной водки. Казимир Станиславович стал пить водку без закуски, давил ее во рту, прежде чем проглотить, а проглотив, стискивал зубы и как будто с отвращением нюхал черный хлеб. Вдруг, даже испугав его, загрохотала на весь зал и запела машина — смесь из русских песен, то преувеличенно бурных, бесшабашных, то не в меру нежных, протяжных, задушевно-грустных... И у Казимира Станиславовича покраснели глаза, подернулись слезами...

Потом седой, кудрявый грузин принес ему на железной пике полусырой пахучий шашлык, с каким-то развратным щегольством срезал мясо на тарелку и, для

пущей азиатской простоты, собственноручно посыпал луком, солью и ржавым порошком барбариса, меж тем как машина гремела в пустом зале подмывающим к едким изгибам и подскакиваниям кекуоком... Потом подавали Казимиру Станиславовичу рокфор, красное вино, кофе, нарзан, ликеры... Машина давно смолкла. Вместо нее играл на эстраде оркестр немок в белых платьях, освещенный и все наполнявшийся народом зал нагрелся, потускнел от табачного дыма, густо насытился запахом кушаний; половые носились вихрем, пьяные требовали сигар, от которых их тошнило; метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную с напряженным соблюдением собственного достоинства; в зеркалах, в их мутно-водянистых безднах отражалось что-то огромное, шумное, сложное; Казимир Станиславович несколько раз выходил из жаркого зала в прохладные коридоры, в холодную уборную, где странно пахло морем, шел точно по воздуху и, возвратясь, снова требовал вина. Во втором часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая в свою одурманенную голову ночную свежесть, он летел на лихаче, на высокой пролетке с дутыми шинами, за город, в публичный дом, видел вдали бесконечные цепи поздних огней, убегавших куда-то под гору и снова поднимавшихся в гору, но видел так, точно это был не он, а кто-то другой; в публичном доме он чуть не подрался с каким-то полным господином, который, наступая на него, кричал, что его знает вся мыслящая Россия; потом одетый лежал на широкой постели, покрытой стеганым атласным одеялом, в небольшой комнате, полуосвещенной с потолка голубым фонарем, приторно пахнущей душистым мылом, с платьями, навешанными на крюк на двери; возле постели стояла ваза с фруктами; девушка, обязанная занимать Казимира Станиславовича, молча, жадно, со вкусом ела грушу, обрезая ее ножичком, а ее подруга, с голыми толстыми руками, в одной рубашке, делавшей ее похожей на девочку, быстро писала письмо на туалетном столике, не обращая на них никакого внимания; она писала и плакала — о чем? На свете народу много, всего не узнаешь...

Десятого апреля Казимир Станиславович проснулся поздно. Судя по тому, как испуганно открыл он глаза, можно было понять, что его на мгновение ошеломила мысль о том, что он в Москве и что́ было вчера. Он



вернулся не ранее пятого часа. Он шатался, поднимаясь по лестнице «Версаля», однако без ошибки пошел к своему номеру по длинному вонючему туннелю коридора, где только в самом начале сонно коптила лампочка. Возле всех номеров стояли сапоги и башмаки, — все людей чужих, неизвестных друг другу. Внезапно одна дверь, пахнув на Казимира Станиславовича почти ужасом, растворилась, на пороге ее появился старик в халате, похожий на плохого актера, играющего «Записки сумасшедшего», и Казимир Станиславович увидал лампу под зеленым колпаком и тесно заставленную комнату, берлогу одинокого, старого жильца, с образами в углу и несметными коробками из-под папиросных гильз, чуть не до потолка наложенными одна на другую возле образов... Неужели это был тот же самый полоумный составитель жизнеописаний угодников, что жил в «Версале» двадцать три года тому назад? В темном номере Казимира Станиславовича было страшно душно от какой-то едкой и пахучей суши. Свет слабо проникал в темноту из окна над дверью. Казимир Станиславович зашел за перегородку, снял цилиндр со своих очень редких, нафиксатуаренных волос, кинул пальто в изголовье голой кровати... Все закружилось под ним, как толко он лег, понеслось в пропасть, и он мгновенно заснул. Во сне все время чувствовал он смрад железного умывальника, стоящего возле самого его лица, а видел весенний день, деревья в цвету, зал большого барского дома, множество народа, со страхом ожидавшего, что вот-вот приедет митрополит, и это ожидание мучило, томило его всю ночь. Теперь по коридорам «Версаля» звонили, бежали, перекрикивались. За перегородкой, сквозь двойные пыльные стекла, светило солнце, было жарко... Казимир Станиславович снял пиджак, позвонил и стал умываться. Прибежал коридорный, востроглазый мальчишка с лисьим пухом на голове, в сюртуке и розовой косоворотке.

— Калач, самовар и лимон, — сказал Казимир Станиславович, не глядя на него.

— Чай, сахар наш прикажете? — с московской бойкостью спросил коридорный.

И через минуту влетел с кипящим самоваром на ладони возле плеча, мгновенно раскинул по круглому столу перед диваном скатерть, поднос со стаканом и полоскательницей, стукнул по подносу ножками

самовара... Казимир Станиславович, пока настаивался чай, развернул «Московский листок», подсунутый коридорным вместе с самоваром; взгляд его упал на заметку о том, что вчера был где-то поднят в бессознательном состоянии неизвестный человек... «Пострадавший отправлен в больницу», — прочел он и бросил газету. Он почувствовал себя очень зыбко, плохо. Поднявшись, открыл окно, — оно выходило во двор, — и на него запахло свежестью и городом, понеслись изысканно-певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоколов... Город давно уже жил своей шумной, огромной жизнью в этот яркий весенний день. Выдавив в стакан с чаем целый лимон, с жадностью выпив мутную кислую жидкость, Казимир Станиславович опять ушел за перегородку. «Версаль» затих. Взгляд лениво скользил по конторскому объявлению на стене: «Пробывши три часа, считается за сутки»; мышь гремела в комоде, катая кусок сахару, оставленный каким-нибудь проезжим... Так, в полудремоте, Казимир Станиславович пролежал за перегородкой до тех пор, пока солнце не скрылось из комнаты и не потянуло в окно другой свежестью, уже предвечерней.

Тогда он тщательно привел себя в порядок: развязал корзинку, переменил белье, достал дешевенький, но чистый носовой платок, обмахнул щеткой лоснящийся сюртук, цилиндр и пальто, вынул из его продранного кармана и кинул в угол затертую киевскую газету. Одевшись и расчесав красящим гребнем баки, он подсчитал свои средства, — в кошельке его оставалось всего четыре рубля семь гривен, — и вышел. Ровно в шесть он был возле низенькой старинной церковки на Молчановке. За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, играли дети — у одной худенькой девочки, прыгавшей через веревочку, все спадал черный чулочек, — и сидели на скамье, перед колясочками со спящими младенцами, кормилицы в русских нарядах. Все дерево трещало воробьями, воздух был мягок, — совсем, совсем летний, даже пылью пахло полетнему, — и нежно золотилось вдали за домами небо над закатом, и чувствовалось, что в мире есть радость, молодость, счастье. В церкви уже горела люстра и стоял налой, перед ним лежал коврик. Казимир Станиславович



осторожно, стараясь не испортить прически, снял цилиндр, вступил в церковь несмело, — он не бывал в церквах уже лет тридцать, — и поместился в уголке, но так, чтобы ему было видно венчающихся. Он оглядывал расписные своды, поднимал глаза в купол, и каждое его движение, каждый вздох звучно отдавался в тишине. Церковь, блестя своим золотом, выжидательно потрескивала свечами. И вот, крестясь, но свободно, привычно стали входить священнослужители, певчие, потом старухи, дети, свадебные нарядные гости и озабоченные шафера. Когда же послышался шум возле паперти, захрустела колесами подъехавшая карета и все обратились ко входу и грянула встреча: «Гряди, голубица моя!» — Казимир Станиславович покрылся от сердцебиения смертельной бледностью и невольно двинулся вперед. И близко, близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась и ландышем овеяла та, которая даже не знала о его существовании на свете, прошла, склонив свою прелестную голову, вся в цветах, и сквозном газе, вся белоснежная и непорочная, как принцесса, идущая к первому причастию... Жениха, встретившего ее, низенького, широкоплечего, с желтым бобриком на темени, Казимир Станиславович едва видел. И за все время венчания только одно было перед его глазами: склоненная, в цветах и фате, голова и маленькая до боли в сердце милая, прелестная рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом...

В десятом часу вечера он был опять дома. Все пальто его пропахло весенним воздухом: после того как, выйдя из церкви, увидал он у паперти зеркальное, отражавшее закат стекло кареты, бело-атласной внутри, и в последний раз мелькнуло за этим стеклом лицо той, которую навсегда, навеки, увозили от него куда-то, он долго скитался по каким-то переулкам, выходил на Новинский бульвар... Теперь он медленно снял с себя пальто трясущимися руками, положил на стол бумажный мешочек с двумя зелеными огурцами, зачем-то купленными им с лотка разносчика... От них пахло весной даже сквозь бумагу, и по-весеннему, жидко серебрился в верхнее стекло окна апрельский месяц, высоко стоявший на еще не стемневшем небе. Казимир Станиславович зажег свечу, печально осветил свой пустой, случайный приют, сел на диван, ощущая на лице вечернюю свежесть... Так

просидел он очень долго. Он не звонил, ничего не требовал, заперся на ключ, — все это показалось подозрительным коридорному, видевшему, как он, шаркая ногами, входил в номер, как вынимал ключ из двери, чтобы запереться изнутри. Коридорный несколько раз пробирался на цыпочках к его двери и смотрел в замочную скважину: Казимир Станиславович сидел на диване и, трясясь и вытирая платком лицо, плакал так ужасно, так обильно, что с бакенбард его сходила и размазывалась по щекам коричневая краска.

Ночью он сорвал шнур с оконной шторы и, ничего не видя от слез, стал привязывать его к крюку вешалки. Но догоревшая свеча жутко полыхала, по запертому на ключ номеру плыли и дрожали страшные темные волны... Нет, умереть от своей руки он был не в силах!

Утром он уехал на вокзал часа за три до поезда. На вокзале он тихо ходил среди пассажиров с опущенными глазами, неожиданно приостанавливался то перед тем, то перед другим и вполголоса, ровно, без выражения, но довольно быстро говорил:

— Ради бога... Нахожусь в безвыходном положении... На билет до Брянска... Хоть несколько копеек...

И некоторые, стараясь не глядеть на его цилиндр, вытертый бархатный воротник пальто и на ужасное лицо с облинявшими фиолетовыми баками, торопясь и конфузясь, давали ему.

А потом он смешался с толпой, кинувшейся к выходу на платформу, и исчез в ней, меж тем как в «Версале», в номере, двое суток как бы принадлежавшем ему, выносили ведро из умывальника, распахивали на апрельское солнце окна и, грубо двигая стульями, выметали, вышвыривали сор, а вместе с сором — его разорванную записку, забытую им вместе с огурцами, упавшую под стол, под спустившуюся скатерть:

«В смерти моей прошу никого не винить...»

*1916*

# Легкое дыхание

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровой медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный

блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство...

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот, однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

— Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. — Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

— Я слушаю, madame, — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла



глаза. — Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

— Да, madame, — просто, почти весело ответила Мещерская.

— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. — Прежде всего, — что это за прическа? Это женская прическа!

— Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

— Ах, вот как, вы не виноваты! — сказала начальница. — Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Ново-

черкасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку, где говорилось о Малютине.

— Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, — сказал офицер. — Дневник этот вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года.

В дневнике было написано следующее:

«Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума,



и никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..»

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение божией матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает

бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

*1916*

# Сны Чанга

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок.

Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях



и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!»[1] — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мглистым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как

[1] Очень хорошая собака, очень хорошая! (*искаженное англ.*)

матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнца, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, — и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается..

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной



шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда после мучительного, беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И, очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо

летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, — всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, — тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос, — человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная



рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее, — ишь какое оно от островков и рифов пестрое, — надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину.

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно. — Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица жена и, в-третьих, чудесная дочка и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая, — плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это

за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, — ну, скажем, почти в ней, — а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нубудь любить так сильно? — спросил он. — Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан, — очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь, или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще добавил:

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат, жарко!» — сказал он, — но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на



пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядя на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей, и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев, — людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с той целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, — потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, — и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг,

капитан и художник и в пивной, и в кофейне и без конца сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, — злая и низкая. — Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь — скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запевает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее, — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то, — и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему. — Да, помню: хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компа-



нии первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, — море точно втягивало его, — и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильней заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что *все-таки* он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту, — и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала, страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, — ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! — пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады бело-огненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал

и холодил густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, — стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, под шум черных волн за окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят.* Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! — сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака. — Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, — в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня!



Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, — только быстро взглянула на меня, — и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «Помоги мне расстегнуть сзади платье», — и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражающее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, переворачиваясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, — некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, — и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные

камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, — идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник уже на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, — сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь



Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается.

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу. — Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндр, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется

склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она, — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

*Васильевское*
*1916*

# Петлистые уши

Необыкновенно высокий человек, который называл себя бывшим моряком, Адамом Соколовичем, многим встречался в этот темный и холодный день то возле Николаевского вокзала, то в разных местах Невского проспекта. С панели Лиговки он, с непонятной серьезностью, смотрел на памятник Александру III, на вереницу трамвайных вагонов, описывающих круг по площади, на черные людские фигуры, на извозчиков и ломовых, двигающихся к вокзалу, на огромный почтовый автомобиль, выезжающий из-под вокзальной арки, на дроги, увозившие куда-то среди этого движения нищенский, никем не провожаемый ярко-желтый гроб; стоя на Аничковом мосту, он сумрачно заглядывался на темную воду, на посеревшие от нечистого снега баржи; бродя по Невскому, внимательно изучал товары в окнах магазинов. Не заметить и не запомнить его было нельзя, и всякий, кому он попадался на глаза, испытывал чувство смутной неприятности, какого-то беспокойства и, отворачиваясь, думал:

— Ах, какой ужасный господин!

Его обувь, узкие брюки, драповое пальто, забрызганное сзади грязью, и кожаный английский картуз говорили о том, что они носятся давно, бессменно и во всякую погоду. Необыкновенно высокий, худой и нескладный, долгоногий и с большими ступнями, с свежевыбритым ртом и желтоватой, довольно редкой американской опушкой под сильно развитой нижней челюстью, с лицом мрачным, недоброжелательным и сосредоточенным, не выпуская длинных рук из карманов и равномерно жуя мундштук папиросы, он подолгу стоял перед витринами. Точно ли уж так интересовали его все эти галстуки,

часы, чемоданы, писчебумажные принадлежности? Сразу было видно, что нет, что он из числа тех странных людей, которые скитаются по городу с утра до вечера единственно потому, что могут думать только на ходу, на улице, или вследствие бездомности, в ожидании чего-нибудь.

Вечер он провел в дешевом ресторане недалеко от Разъезжей, с какими-то двумя матросами.

Не раздеваясь, все трое сидели в тусклой и холодной комнате за неуютным столиком у стены, причем Соколович поместился особенно неуютно: в спину ему глядел маленький круглоголовый татарин, стоявший в глубине комнаты за стойкой с закусками, перед глазами у него торчала на стене реклама пивного завода, изображающая трех счастливых хлыщей в цилиндрах на затылок и с пенящимися бокалами в руках, справа поминутно дуло ледяной сыростью, приносимой входящими с улицы посетителями, а слева веяло ветром от пробегавших к стойке и обратно официантов: тут был порог в три ступеньки, — ход в коридорчик, откуда пахло кухней и кислотой газа, — и видна была открытая дверь в бильярдную, сверху темную, а внизу светлую, где крепко щелкали шары и ходили с киями на плечах и в одних жилетах безголовые мужчины: головы их терялись в сумраке. Садясь на свое беспокойное место, Соколович вынул из кармана пальто трубку и, перекосив брови, пристально посмотрел на пивную рекламу. Матросы разговаривали с подошедшим официантом, а он стал набивать трубку табаком и, ни к кому не обращаясь, медлительно сказал своим густым голосом:

— Почему собирают всякий вздор, а не собирают рекламы, то есть исторические документы, наиболее правдиво рисующие человеческие идеалы? Разве, например, вот эти франты не выражают мечту девяти десятых всего человечества?

— Вы ж сами панский сын, — неприязненно заметил на это один из матросов, Левченко.

— Я сын человеческий, — сказал Соколович с какой-то странной торжественностью, которая могла сойти и за иронию. — Мое панство не помешало мне видеть мир и всех богов его. Не помешало даже быть шофером... Это, знаете, очень острое удовольствие — видеть, как несется



на тебя улица и как мечется впереди, не зная, в какую сторону кинуться, какая-нибудь прекрасная дама.

И, сказав, закурил, поставил локоть на стол, придерживая трубку крупной левой рукой, на которой под обшлагом не видно было рубашки и на удлиненной плоской кисти синела татуировка, — изогнутый японский дракон.

Весь вечер пили из чашек, под видом чая, кавказский коньяк, закусывая мятными розовыми пуговками, и немилосердно дымили. Матросы, как все рабочие люди, постоянно оскорбляемые жизнью, много говорили, каждый стараясь говорить только о себе, выискивали в памяти наиболее низкие поступки своих врагов и притеснителей, хвастались, — один будто бы дал однажды «в харю» придирчивому помощнику капитана, другой вышвырнул за борт боцмана, — и все спорили, поминутно крича:

— Ну, хотите пари?

Соколович сосал трубку, двигал челюстью и угрюмо молчал. Завсегдатай всяческих притонов от Кронштадта до Монтевидео, он, однако, никогда не пьянствовал, любил только джинджер, абсент. В этот вечер он не отставал в питье от своих компаньонов, но наружно хмель не оказывал на него влияния. И это тоже задевало матросов, тем более, что их, как они признавались впоследствии, всегда раздражало сильное и отталкивающее лицо Соколовича, его склонность к загадочной задумчивости и то, что они хорошенько не знали и не могли понять ни его характера, ни его прошлого, ни его теперешней бездомности и бездельной жизни. Левченко, пьяневший довольно быстро, раз крикнул ему:

— От тоже тип! Мы ж вас угощаем, что ж вы не разделяете компании, а только смокчете свою копченую люльку?

И Соколович грубо и спокойно осадил его:

— Не орите, сделайте милость. Это меня сердит. Я уж не раз говорил вам, что вино на меня мало действует и не доставляет мне особого удовольствия. Вкус у меня притупленный. Я так называемый выродок. Поняли?

Левченко смутился и ответил с напускной развязностью:

— Ну, да и вы тоже не задавайтесь, пожалуйста! Что такое я понял? Когда б вы были выродок, вы бы были

больной и на вино слабый, а вы мне рассказываете обратно. Вы человека можете убить одной рукой, а говорите...

— А говорю правильно, — перебил Соколович, возвышая голос. — У всякого выродка одни восприятия и способности обострены, повышены, а другие, напротив, понижены. Поняли? И сила тут совсем ни при чем.

— А как же я того выродка узнать могу, если он здоровый, как той кабан? — насмешливо спросил Левченко.

— А по ушам, например, — ответил Соколович не то всерьез, не то насмешливо. — У выродков, у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, — вот на ту самую, которой и давят их.

— Ну, знаете, убить всякий может, если разгорячится, — небрежно вставил другой матрос, Пильняк. — Я раз в Николаеве...

Соколович выждал, пока он кончит, и сказал:

— Я, Пильняк, тоже подозреваю, что эти уши присущи не одним только так называемым выродкам. Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, — по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, — убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение, — пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды, похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни мучаются, ужасаются?

— Я читал «Преступление и наказание» Достоевского, — заметил Левченко не без важности.

— Да? — сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. — А про палача Дейблера вы читали? Вот



он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своем веку ровно пятьсот голов по приказу своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело, однако, не в выродках, не в палачах и не в каторжниках. Все человеческие книги — все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы, — все полны такими же записями, и кто же это содрогается от них? Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в Библии слово «убил» употреблено более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью творцу за содеянное.

— Зато это и называется Ветхий завет, древняя история, — возразил Левченко.

— А новая такова, — сказал Соколович, — что от нее встала бы шерсть у гориллы, умей она читать... Ну, нет, — сказал он, кося брови и отводя глаза в сторону, — с Каином гориллам двуруким нечего равняться! Далеко ушли они от него, давно потеряли наивность — вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая. У горилл настоящих еще не было ни этих ассирийских царей, ни Цезарей, ни инквизиции, ни открытия Америки, ни королей, подписывающих смертные приговоры с сигарой во рту, ни изобретателей подобных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, ни Робеспьеров, ни Джеков-Потрошителей... Как вы думаете, Левченко, — спросил он, снова поднимая строгие глаза на матросов, — мучились все эти господа муками Каина или Раскольникова? Мучились всякие убийцы тиранов, притеснителей, золотыми буквами записанные на так называемые скрижали истории? Мучаетесь вы, когда читаете, что турки зарезали еще сто тысяч армян, что немцы отравляют колодцы чумными бациллами, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет? Мучается какой-нубудь Париж или Лондон, построенный на человеческих костях и процветающий на самой свирепой и самой обыденной жестокости к так называемому ближнему? Мучился-то, оказывается,

только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы.

— Ма́йна! Поехало! — крикнул Левченко, желая перевести в шутку уже тяготивший его разговор.

Соколович помолчал и, сплюнув между колен, спокойно добавил:

— В войнах участвуют теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц. Но ведь всякий отлично знает, что мир ни на йоту не сойдет с ума от этого. Говорили когда-то, что на Сахалин поехать очень страшно. Но желал бы я знать, кому придет в голову побояться поехать через год, через два, когда кончится война, по Европе?

Пильняк стал рассказывать о своем дяде, который зарезал из ревности свою жену. Соколович, послушав, заметил в сумрачном раздумье:

— Людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к убийству мужчины. Наши чувственные восприятия никогда не бывают так внимательны к телу мужчины, как к телу женщины, низкому существу того пола, который родит всех нас, отдаваясь с истинным сладострастием только грубым и сильным самцам...

И, поставив локти на колени, снова замолк и как бы совсем забыл о своих собеседниках.

В одиннадцатом часу, небрежно, свысока простясь с матросами, оставшимися сидеть в ресторане, он опять направился к Невскому.

Яркое освещение Невского подавлял густой туман, такой холодный и пронзительный, что у полицейского офицера, управлявшего на углу Владимирской водоворотом надвигавшихся друг на друга карет, саней и глазастых автомобилей, усы казались седыми, белыми. Возле Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой копытами, силясь справиться и вскочить, упавший на бок, на оглоблю, вороной жеребец, которому торопливо и растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан-городовой, плохо двигавший одеревеневшими от стужи губами; до слуха Соколовича донеслось, что задавлен какой-то переходивший улицу старик с белой бородой и в длинной енотовой шубе, будто бы



знаменитый писатель, но Соколович даже не приостановился. Он повернул на Невский.

Некоторые обгоняли его, с удивлением заглядывали ему снизу в лицо, некоторых обгонял он сам. Запустив руки в карманы и приподняв плечи, пряча влажную от тумана челюсть в ворот и косясь на мелкую черную толпу, бегущую перед ним, почти противоестественно выделяясь над этой толпой своим ростом, он мерно клал по панели свои длинные ступни, все время начиная с левой ноги и делая левый шаг шире правого. От электрических столбов падали в дым тумана угольные тени. Густо, с однообразным топотом катились в этом дыму заиндевевшие извозчичьи лощади; рысаки неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая из ноздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру дымными волнами; вихрем промелькнула бешено мчавшаяся пара — молоденький офицер, крепко охвативший талию дамы, прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в каракулевую муфту... Соколович замедлил шаги и долго глядел вслед этой паре, туда, где в ледяной мути огромного потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь винно-красных трамвайных огней и вспыхивали зеленоватые зарницы. Большое лицо его было свирепо в своей сосредоточенности.

Он наискось пересек Аничков мост и пошел по другой стороне проспекта. Ветром и туманом понесло сильнее, вдали в темной и мглистой высоте, означился красноватый глаз часов на башне городской думы. Соколович остановился и довольно долго стоял, закуривая папиросу и исподлобья оглядывая бесконечно и медленно проходивших мимо, уже появившихся на панели проституток; за ним было громадное зеркальное окно запертого, печально, по-ночному, освещенного магазина, откуда недвижно смотрели восковые красавцы блондины с большими редкими ресницами, в дорогих пальто и шубах, с деревянными ножками, мертво торчащими из-под модных, великолепно заглаженных панталон... Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной темнотой Казанского собора и поднялся на крыльцо Доминика.

Там, в тесной толпе, евшей и пившей стоя и не раздеваясь, точно на улице, он сел в темном углу, — светло было только над стойкой, осаждаемой толпой, — и

спросил себе черного кофе. Совершенно неожиданно появился у его столика какой-то щуплый господин в котелке, с озябшим личиком, быстро попросил позволения взять серник из спичечницы и, быстро осветив его, скороговоркой спросил:

— Простите, пожалуйста, вы мне ужасно напоминаете одного моего виленского знакомого Яновского?

Соколович твердо посмотрел ему в глаза и с тяжеловесной серьезностью ответил:

— Вы ошибаетесь, господин сыщик.

У Доминика он просидел до часа ночи. Наконец опустевший зал ресторана наполнился стуком стульев, которые, переворачивая, швыряли на столики ставшие вдруг вольными и грубыми лакеи. Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места.

Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называется Полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров. На панелях, возле черных витрин и запертых ворот, темнее. По ним, напевая, гуляющим шагом, бродят беспечные на вид, но до нутра продрогшие от ледяной сырости, дешево и несоответственно обстановке наряженные женщины, и лица некоторых из них поражают таким ничтожеством черт, что становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иной, чем люди, неведомой породы.

Соколович, выйдя от Доминика и пройдя шагов двести, взял из этих женщин некую, как оказалось потом, Королькову, называвшую себя просто Корольком, небольшую, мелкую, но от дурной модной одежды на вид широкую, в шляпке, как-то очень сложно и тоже широко сделанной из черного бархата и украшенной пучком стеклянных вишен. Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу. Он, зорко окинув ее взглядом, тотчас же густо крикнул стоявшему на углу



ночному извозчику. И вот, усевшись в низкую пролетку, покатила эта пара сперва по Невскому, потом по площади, мимо светящихся часов Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда в глубь снежной России, мимо той ужасной толстой лошади, что вечно гнет, в дожде или тумане, свою большую голову, прося повода у своего дородного седока, потом по Гончарной — далее, по туманным улицам и переулкам, в таинственную глушь ночных столичных окраин.

Дорóгой Соколович молча курил. Королькова, видимо, тяготясь этим молчанием, заметила, что по ее мнению, папиросы «Голенищев-Кутузов» лучше, чем «Сирень». Эта попытка завести разговор простой, как бы даже несколько дружеский, еще не связанный с целью путешествия, была жалка и трогательна; но Соколович промолчал. Тогда она стала просить, чтобы он заплатил ей вперед, и с напускной смелостью прибавила, что на всю ночь она согласна только за хорошую цену. Он молча вынул и подал ей два серебряных рубля. Она взяла, попробовала один из них зубом, нашла, что он фальшивый, спрятала его в муфту, говоря, что это не идет в счет, что она оставляет его только так, на память, потому что теперь война и серебро редко, запрещено, и стала просить еще. Помедлив, Соколович дал ей еще рубль. Тогда она сделала новую попытку — быть женщиной: внезапно вздрогнула и сделала движение прижаться к нему. Вздрогнула она притворно, но, должно быть, непритворно было чувство, вдруг охватившее ее: она остро ощутила влечение к нему, большому, сильному, цельному в своем безобразии и беспощадной мрачности. Но он не ответил на ее движение.

Заехали они далеко. Королькова приказала извозчику остановиться возле двухэтажного кирпичного дома с вывеской: «Номера для приезжающих Белград». Было уже без четверти два, место было глухое.

Во втором этаже «Белграда», куда Соколович поднялся с Корольковой по затоптанному половику, гостей встретил в полутемном коридоре номерной Няньчук, спавший на узком деревянном диванчике под дрянным зимним пальто с вытертым барашковым воротником. Рост, мрачно-сосредоточенный вид и жидкая, мокрая от тумана американская борода Соколовича поразили его спросонья. Он поднялся и неприветливо спросил:

— Что нужно?

— Точно ты не знаешь, болван, — сквозь зубы сказал Соколович, самоуверенно проходя мимо него и кладя ему в руку серебряный полтинник.

Няньчук хотел было обидеться и сказать: «От такого же слышу», — но ощутил в руке деньги, узнал Корольковy, которая, проходя, проговорила: «Не узнал меня, богатой быть!» — и только нахмурился. Недовольно бормоча, что им и так каждый день неприятности от полиции, он опередил Соколовича и, чиркнув спичкой, распахнул дверь в сложно и сладко чем-то пахнущий, душный и очень теплый номер, половину окна в котором наискось загораживала крыша какой-то дворовой постройки. За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины и точно в аду пылал багровый огонь огромного факела.

— Что это такое? — строго и даже тревожно спросил Соколович, останавливаясь.

— Ночные работы, ассенизация, — проворчал Няньчук, все еще чувствуя обиду, и, засветив на подзеркальнике две свечи в красных розетках и пузырями опуская белую коленкоровую штору, осведомился, чего гости будут требовать.

Соколович потребовал себе квасу и, странно усмехнувшись, прибавил:

— А для барышни фруктов.

— Фруктов нету, — ответил Няньчук. — Виноград есть. Полтора рубля порция.

— Прекрасно, — сказал Соколович, — подай винограду.

Корольковой такое обращение, видимо, польстило. Стараясь быть и в самом деле барышней, которую зимой угощают виноградом, оглядывая номер, потопывая озябшими ногами и дуя в муфту, она капризно заметила:

— Ой, ой, он, верно, холодный!

Через минуту Няньчук принес на большом железном подносе виноград и две откупоренные бутылки, из которых полезла пена, и Соколович тотчас же запер дверь на ключ. Королькова, когда выходил Няньчук, щипала, стоя у стола и все еще дыша в муфту, пересыпанные опилками, твердые зеленые виноградины, а ее страшный спутник с своим желтым ожерелком и свежевыбритым ртом снимал в углу пальто, разматывал длинный шарф



из грубой лиловой шерсти. И затем номер, за окном которого пылало зловещее пламя и глухо шумела сокровенная ночная работа, облекся в тайну.

В четыре часа задребезжал в коридоре звонок. Няньчук очнулся, скинул с диванчика ноги в штрипках подштанников и войлочных туфлях и пошел к ящику звонка. Там выскочила цифра три. Из-за двери третьего номера женский голос потребовал десяток папирос «Зефир». Возвращаясь из буфета с папиросами, заспанный Няньчук спутал, в какой именно номер нужно подать их, и постучал в восьмой, отданный Соколовичу. Грубый, низкий бас медленно спросил из-за двери:

— В чем дело?

— Ваша баришня папиросы просила, — сказал Няньчук.

— Моя «баришня» не просила, да ни в каком случае и не могла просить папирос, — ответил бас наставительно.

И Няньчук, тотчас вспомнив, кому нужно подать коробочку, и подав ее в полную женскую руку, высунувшуюся в приотворенную дверь третьего номера, снова лег на свое место и крепко заснул под мерное постукиванье часов в конце коридора полутемной и тихой гостиницы.

Снова очнулся он только в седьмом часу: над ним, во весь свой рост, в пальто и в картузе, стоял и толкал его в плечо постоялец из восьмого номера.

— Вот тебе за номер и за труды, — сказал он. — Выпусти меня. Мне пора на завод, а барышня велела разбудить себя в девять.

— А за виноград же? — быстро и с тревогой спросил Няньчук.

— Я все счел, — сказал Соколович. — По-моему, четыре семь гривен. А я тебе пять с полтиной даю. Понял?

И спокойно пошел по лестнице.

С полузакрытыми от жажды сна глазами, поправляя плечом накинутое на плечи пальто, Няньчук опять опередил его и затопал вниз по ступенькам лестницы. Соколович терпеливо ждал, пока он одолеет туго повертывавшийся в дверной скважине ключ. Наконец дверь распахнулась. Он прошел мимо Няньчука, приподнял ворот и, как оперный певец, боящийся простуды, закрывая рукой горло, густо сказал себе в бороду: «До свиданья», —

и вышел на улицу, на сырой и свежий воздух. Было еще совсем темно и тихо, но в этой темноте и тишине уже чувствовалось близкое утро. Надо всей окрестной далью, надо всем огромным гнездилищем еще безмолвной столицы стоял невнятный, отдаленный стон фабрик и заводов, зовущий из всех своих нищенских приютов, из всех своих низов и притонов несметный трудовой люд. Фонарь, стоявший со своей черной тенью против гостиницы, освещал часть мостовой и улицы. Туман рассеялся, ночью шел снежок, — громада теса, возвышавшаяся из-за забора за фонарем, траурно белела на черноте ночи. Соколович повернул направо и скрылся вдали. Продрогший Няньчук хлопнул дверью и побежал по лестнице назад, наверх.

Ложиться снова было уже не к чему. Он стал искать под диваном ботинки — и вдруг увидел, что дверь восьмого номера приоткрыта и что за нею есть свет. Он вскочил и кинулся к номеру: в номере было так страшно тихо, как не бывает, когда есть в нем хотя бы и спящий человек, трещали догоревшие в лопнувших розетках свечи, в сумраке бежали тени, а на кровати торчали из-под одеяла короткие голые ноги лежавшей навзничь женщины. Голова ее была придавлена двумя подушками.

*1916*

# Соотечественник

Этот брянский мужик мальчишкой был привезен в Москву из деревни, состоял на побегушках при купеческом амбаре на Ильинке, стрелой летал в трактиры за кипятком: схватит медный чайник и мчится в галереях Старых Рядов, темной водяной струей выписывая по серому полу цифру восемь... Бойкий зимний день, идет снежок, Ильинка чернеет народом, бегут, тасуются извозчичьи лошади, а он, в одной рубашке, без шапки, — голова у него похожа на красного ежа, — срывается с тротуара, выскочив на улицу, и жжет на подошвах по льду в канавке...

Представьте же, как странно видеть этого мужика в тропиках, под экватором! Он сидит в своей конторе, в старинном доме голландской постройки. За окнами — жаркий белый город, голые черные рикши, магазины драгоценных камней, отели, полные туристов со всех концов земли, в теплой зеленой воде гавани — американские и японские пароходы, за гаванью, на низменных побережьях, — кокосовые леса... Одетый во все белое, рослый, узловатый, огненно-рыжий, с голубой веснушчатой кожей, бледный и энергично-возбужденный, даже просто шальной, — от зноя, нервности, постоянного хмеля и деловитости, — с виду он не то швед, не то англичанин. Письменный стол его весь завален бумагами, счетами. Кругом стоит сухой треск ремингтонов. Старик-индус, босой, в халате и тюрбане, бесшумно и быстро меняет своими темными, изящными руками в серебряных кольцах бутылочки холодной содовой воды и поминутно, с таинственной миной, докладывает о посетителях, к каждому слову прибавляя: сэр. А сэр весь поглощен, — или притворяется, что поглощен, — беседой с гостем из

России, перед которым он играет роль радушного хозяина этого тропического острова. На столе несколько раскрытых коробок с дорогими сигарами, с турецкими, египетскими, английскими и гаванскими папиросами. Он знаток в табаках, как и во всем, впрочем, — он угощает то тем, то другим... Мельком взглянув на поданную бумагу, он, среди разговора, твердо и коротко расчеркивается на ней; увидев входящего посетителя, меняет выражение лица, двумя, тремя фразами кончает дело и снова подхватывает прерванную беседу; принимая депешу, разрывает ее как-то особенно небрежно, на мгновение нахмуривается, пробегая: «А, идиоты!» — крепко выговаривает он с досадой и, отбросив в сторону, тотчас забывает или притворяется, что забывает о ней... У него все идиоты. Он уже успел удивить гостя своей самоуверенностью, решительным и скептическим умом, деловитостью, огромным житейским опытом и несметными знакомствами с людьми самых разнообразных классов и положений. Кого ни назови из московских знаменитостей, — купцов, администраторов, врачей, журналистов, — он всех знает, да хорошо знает и цену каждому из них. А какая у него осведомленность по части всяких закулисных тайн, редких карьер и темных историй!

Гость еще в Порт-Саиде много слышал о нем от одного его приятеля, с циничной веселостью говорившего, что Зотов прошел огонь, воду и медные трубы: «Да-а, — говорил этот приятель, покачивая головой, с насмешливой и загадочной улыбкой, — хорош мальчик!» На месте гость узнал еще больше и главным образом из отрывочных фраз самого же Зотова. Странно, неожиданно проявляются таланты на Руси, и чудеса делают они при счастливых жребиях! А он вынул жребий необыкновенно счастливый, прибыв в Москву мальчишкой. Был у него там дядя, сытый, умный мужик, уже приобретший и достаток, и сознание собственного достоинства, ловко умевший, не роняя себя, услужить порядочному господину. Работал этот дядя в Сандуновских банях, и многие, кого окружал он облаками горячей и душистой мыльной пены, звали его по имени, любили поговорить с ним. Любил и Нечаев, либеральный, образованный крез, большой, полный купец в золотых очках. Мудрено ли было, накинув на розовое распаренное тело скользкую, тонкую простыню, замолвить словечко



о мальчишке-племяннике? И мальчишка попал не дратву сучить, не утюги раздувать, а в сумрачный, чистый и тихий амбар на Ильинке. Все остальное было делом его личной живости и талантливости. Как начинают эти счастливцы и самородки, — известно: днем мальчишка на побегушках, вечером по собственной охоте, без всяких руководителей, корпит при тусклом огарке, учится читать, писать; утром, до прихода приказчиков, ничего не понимая, но упрямо одолевает газету; а только чукнут приказчики — он уже тут как тут, как лист перед травой, ловит каждое слово, каждый взгляд... Лет двенадцати этот мальчишка, обративший на себя исключительное хозяйское внимание, был взят в хозяйский дом, а на восемнадцатом году был уже в Германии, изучал бумажное дело, работая не хуже любого немца: иностранцы будто бы верить не хотели, что он русский. «Часто не верят и теперь, болваны!» — говорит Зотов, по своему обыкновению, отрывисто и грубовато, бросая одну папиросу и тотчас же закуривает другую. Второй день он в черных очках, потому что одна бровь у него разбита: поскользнулся, говорит, на кожицу банана в баре, — значит, хорош был. А ведь он здесь, на острове, по своему положению персона. Все время владеет он любопытством, вниманием собеседника. Он, этот до наглости смелый человек, заражает своей смелостью, своей энергией, порой восхищает даже. Но, слушая его, дивясь ему, глядишь на него и думаешь: да, но ведь он пьян! Он всегда во хмелю — от нервности, от жары, от табаку, от виски: много пьют англичане, но, конечно, ни один из них во всем этом белом городе не выпивает за день столько, сколько Зотов, не глотает так жадно ледяную содовую воду, не выкуривает такого количества сигар и папирос, не говорит так много и путано...

После заграничной выучки он работал дома и пользовался неограниченным доверием своего воспитателя. Но в самостоятельности он уже не хотел знать меры, равно как и в тратах. Посланный в Среднюю Азию, он вдруг, по какому-то пустому поводу, поссорился, порвал все связи с Нечаевым — и сразу превратился в человека, ровно и твердо шедшего в гору, чуть не в искателя приключений. Он изъездил всю Сибирь, побывал на Амуре, в Китае, сгорая нетерпением начать какое-нибудь собственное дело, — такое, которое привело бы его к

обогащению. Кончил он тем, что ввязался в большое чайное дело, устроив себе еще, кроме того, две службы, и вот уже шестой год пребывает здесь, в тропиках, облеченный немалыми полномочиями... Редкий европеец поставил бы так легко крест на своей изумительной по удаче судьбе, да даже просто на своей специальности, взявшей столько лет труда! Не отдался бы европеец на прихоть случайностей, не взвалил бы на себя и правительственную службу, и пароходную агентуру, и чайные дела, не затеял бы наряду со всем этим еще афер с жемчужными раковинами, не содержал бы свою черную любовницу, — редкую, по слухам, красавицу, — на диво всему городу... Он очень себе на уме, но порою очень бестактен, одинаково сильно проявляет то большую выдержку, то несдержанность, то скрытность, то болтливость, щеголяет своим простым происхождением и в то же время хвастает знакомством с людьми знатными, на чем свет стоит ругает русское правительство и с видимой гордостью держит у себя на столе фотографический портрет красивого военного, собственноручно пожаловавшего ему этот портрет с кратким надписанием своего имени; рассказывая что-нибудь, по его мнению, забавное, не понимает зачастую, что смысл этого забавного можно истолковать совсем не в его пользу: например, из его же собственных рассказов узнал гость, что уж слишком всезнающим, чуть не проходимцем казался он некоторым из тех дельцов Сибири, Манджурии, с которыми так быстро сходился он, которых очаровывал на первых порах своей любезностью и общительностью, своими замашками человека, привыкшего жить на широкую ногу, понимающего толк решительно во всем, начиная с сигар, вина, женщин и кончая какими-то раскопками на Филиппинских островах, весьма будто бы губительными по причине земляного микроба...

Вечером гость едет с ним за́ город.

Там, на берегу океана, есть ресторан, где туристы и резиденты отдыхают от городской духоты, пьют чай, брэнди, шампанское и любуются закатом с площадки перед рестораном. Едут туда на рикшах, в крохотных колясочках, друг за другом, по бесконечной дороге среди вековой растительности, мимо бунгалоу и дикарских хижин, и целый час видит перед собой гость из России только голое тело коричневого человека, мчащего его



все дальше под ветвистый свод раскидистых деревьев, а за ним, за этим телом и его черноволосой головой, — большую белую фигуру Зотова, высоко и прямо сидящего в своей колясочке. На полпути Зотов вдруг оборачивается и, поднимая палку, кричит гостю:

— Хотите, заедем?

Гость отвечает согласием, — Зотов указал на небольшой буддийский монастырь, — и тяжело дышащие, мокрые от пота дикари подкатывают к проходу между хижинами под пальмами.

— Ну, не наше ли, не российское ли? — говорит Зотов, выходя из экипажа. — Только у нас так бессовестно много этой листвы, этого леса, этих лачуг, этих грязных мальчишек! Вы только поглядите, — говорит он, указывая палкой на хижины, на их лиственные и камышовые крыши, на голых детей и на старых и молодых туземцев, любопытно обступивших приезжих. — И вечер-то наш, летний, душный и такой анафемски скучный! — раздраженно говорит он, направляясь к старой кумирне, стоящей на холме под тонкими кокосовыми пальмами, где уже ждет жрец в желтом плаще, с обнаженным правым плечом, с небольшой, сдавленной в висках бритой головой и пристальными, безумными глазами.

Войдя в темное маленькое святилище, соотечественники снимают мокрые от пота, холодные внутри шлемы. Жрец пальцем указывает на головы и мотает им: этого, мол, не требуется.

— Много ты понимаешь, дурак! — говорит Зотов по-русски и долго, с какой-то странной серьезностью, глядит на двухсаженную деревянную статую, красно и желто расписанную и раззолоченную, лежащую на боку за черным каменным жертвенником, на котором насыпаны мелкие монеты, никелевые кольца и курятся ароматическим дымком тончайшие коричневые палочки.

— А раскрашен-то, лакирован-то как! — говорит он отрывисто. — Точь-в-точь деревянные миски и чашки на наших ярмарках...

И небрежно кидает на серебряную тарелку, протянутую жрецом, тяжелый червонец...

Когда приезжают в ресторан, лицо у него меловое, и черные очки очень страшны на этом лице. «Я целых два часа ничем не отравлялся, ничего не пил, не курил и потому смертельно уморился», — говорит он. И как только

садится к столику на площадке перед рестораном, на обрывистом берегу, заваленном внизу голубыми валунами, вечно купающимися в теплой воде океана, тотчас заказывает шампанского.

Вино очень холодное, и оба жадно пьют его, быстро хмелея и глядя на темнеющий сиреневый океан, на бесконечно далекий закат, мутно и нежно розовый. Дует теплый слабый ветер, дремотно звенят какие-то насекомые в кустарниках... И вдруг Зотов далеко бросает папиросу, быстро закуривает другую и снова, волнуясь, с упорством, начинает говорить о сходстве этого острова с Россией.

Гость усмехается. Зотов путано и торопливо возражает ему. Дело, говорит он, не в одном внешнем сходстве... да он даже и не сходство, собственно, имел в виду, а скорее свои ощущения... может быть, эти ощущения шатки, болезненны, ну, да это уж другой вопрос... в этом климате сам черт сойдет с ума, с этим климатом нельзя шутить... а вот, рассуждая о всяческих дальневосточных опасностях, как-то совсем забывают об этом, забывают, что господам арийцам и особенно нам, русским, следует совершать свои победоносные шествия в тропики с крайней осторожностью, почаще вспоминая своих пращуров и завоевание ими Индостана, так знаменательно кончившееся буддизмом: ведь это же мы, арийцы, залезшие после Тибета в тропики, породили это ужасающее в своей непреложной мудрости учение... И затем горячо начинает уверять, что «вся сила в том», что он уже видел, чувствовал индийские тропики, может быть, тысячи лет тому назад, — глазами и душой своего бесконечно давнего предка...

Он говорит, — с тонкостью, страстностью и красноречием, которых никак нельзя было ожидать от него, — что он испытал чувства необыкновенные на пути сюда, в те жаркие звездные ночи, когда впервые глядел на Южный Крест, на Канопус и на те первозданные звездные туманности, что называются Магеллановыми Облаками, видел Угольные Мешки, эти траурные пролеты в бесконечность мировых пространств, страшное великолепие Альфы Центавра, игравшей на совершенно пустом небосклоне, где точно начиналось какое-то безмерное, недоступное нашему разуму Ничто... Да, да, восклицает он настойчиво, уставясь на гостя своими



черными очками, — совершенно пуст был небосклон вокруг нее! Зрелище нового мира, новых небес раскрывалось передо мною, но мне казалось, — и это ощущение было до ужаса живо во мне, уверяю вас! — мне казалось, что я уже видел их когда-то. Все дни и ночи широко размахивала нас в океане плавная мертвая волна. Мы шли навстречу восточному муссону, он дул резко и сильно, от его непрестанного воздушного тока гудело в реях и рябило в глазах, ход казался быстрым... Просыпаясь по ночам в горячей темноте своей каюты, я шел отдыхать от своего изнурительного сна на верхние палубы, на ветер, под эти звезды — совсем не те, что я видел всю жизнь, с самого рождения и с которыми уже сроднился, совсем, совсем другие, но вместе с тем как будто и не совсем новые, а *смутно вспоминаемые*. В их тусклом свете стоял непрестанный шум океана, пароход медленно клало с одного бока на другой, и, точно удавленники в серых саванах, с распростертыми руками, качались и дрожали возле трубы длинные парусиновые вентиляторы, жадно ловившие своими отверстиями свежесть муссона, с которым уже доносилось до нас горячечное дыхание нашей страшной Прародины. И тут порою охватывала меня такая тоска, — тоска какого-то бесконечного далекого воспоминания, — что человеческим словом не выразишь даже и сотой доли ее...

Дует слабый, сладкий ветер, дремотно звенят кустарники. Сумерки начинают наливаться тем сказочным оранжево-золотистым светом, который всегда возникает в тропиках вскоре после заката. Оранжево-золотистой пеной кипит прибой, в оранжево-золотистом озарении лица и белые одежды... «Как связать то, чем он дивил меня днем, и то, чем дивит теперь?» — думает гость из России про своего удивительного соотечественника. А тот смотрит на него своими черными очками и упрямо повторяет:

— Да, да, я уже здесь... И вообще, я человек обреченный... Если бы вы знали, как страшно запутаны мои дела! Еще больше, кажется, чем душа и мысли! Ну, да из всего есть выход. Дернул собачку револьвера, поглубже всунув его в рот, — все эти дела, мысли и чувства разлетятся к чертовой матери!

*1916*

# Старуха

Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала.

Святочная метель, вихрями носившаяся по снежным крышам и снежным пустым улицам, стала мутно синеть, наливаться сумерками, а в доме темнело.

Там, в зале, чинно стояли кресла вокруг стола под бархатной скатертью, над диваном тускло блестела картина — зеленоватый кружок луны в облаках, дремучий литовский лес, тройка лошадей, сани, из которых розовыми лучами палили охотники, и кувыркающиеся за санями волки; в одном углу до потолка раскидывалось из кадки мертвыми листьями сухое тропическое растение, а в другом воронкой зиял хобот граммофона, оживавший только по вечерам, при гостях, когда из него вопил в притворном отчаянии чей-то хриплый голос: «Ах, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» В столовой текло с мокрых тряпок, лежавших на подоконниках, в клетке, крытой клеенкой, спала, завернув головку под крылышко, больная тропическая птичка, — сном тонким и, в силу непривычки к нашим Святкам, грустным, грустным. В узкой комнате рядом со столовой крепко, с храпом спал квартирант, пожилой холостяк, учитель прогимназии, в классах дравший детей за волосы, а дома усердно работавший над большим, многолетним сочинением: «Тип скованного Прометея в мировой литературе». В спальне тяжко и зло спали хозяева после страшного скандала за обедом. А старуха сидела на лавке в темнеющей кухне и разливалась горькими слезами.

Скандал-то за обедом начался опять из-за нее! Хозяйка, которой по годам уже давно следовало стыдиться



ревновать, с ума сходила от ревности и наконец-таки поставила на своем — наняла в кухарки старуху. Хозяин, который уже давно красился, но все свои помыслы устремлял только на женский пол, решил сжить эту старуху со свету. И правда, была старуха куда как нехороша собой: высокая, гнутая, узкоплечая, глухая и подслепая, от робости бестолковая, готовила, несмотря на все свои старания, из рук вон скверно. Она трепетала за каждый свой шаг, из сил выбивалась, чтобы угодить... Не радостно было ее прошлое: ну, конечно, муж разбойник и пьяница, потом, после его смерти, чужие углы и поборы под окнами, долгие годы голода, холода, бесприютности... И уж как же была старуха счастлива, что опять она стала не хуже людей, — сыта, тепла, обута, одета, служит у чиновника! Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, всю свою душу отдавая богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как просила его не лишать ее этой милости! Но хозяин поедом ел ее: нынче за обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-ноги оторвались от страха, а миска со щами полетела на пол. И что только было потом между хозяевами! Даже учитель, весь обед думавший о Прометее, не выдержал, отвел вбок кабаньи глазки и молвил:

— Не ссорьтесь, господа, ради высокоторжественного праздника!

Вот дом затих, успокоился. Посинел во дворе дым вьюги, выше крыш намело сугробы, завалило ворота и калитку... Бледный, ушастый мальчик в валенках, сирота, хозяйкин племянник, долго учил уроки, приладившись к мокрому подоконнику в своей каморке рядом с кухней. Он был отрок прилежный и назубок решил вытвердить то, что ему задали на рождественские каникулы. Он не хотел огорчать своих воспитателей и благодетелей, он, им на утешение, отечеству на пользу, старался на всю свою жизнь запомнить, что две с половиной тысячи лет тому назад греки (народ вообще мирный, с утра до вечера соборно участвовавший в театральных трагедиях и совершавший жертвоприношения, а в свободные часы вопрошавший оракула) наголову разбили однажды войско персидского царя при помощи богини Афины-Паллады, да могли бы пойти по пути цивилизации и дальше, если бы не изнежились, не развратились и не погибли, как было это, впрочем, со всеми древними

народами, неумеренно предававшимися идолопоклонству и роскоши. А запомнив, закрыл книжку и долго скреб ногтями лед с оконного стекла. Потом встал, неслышно подошел к двери в кухню, заглянул за дверь — и опять увидел то же самое: в кухне тихо и сумрачно, рублевые стенные часы, у которых стрелки не двигались, всегда показывали четверть первого, стучат необыкновенно четко и торопливо, свинка, зимующая в кухне, стоит возле печки и, до глаз запустив морду в лохань с помоями, роется в них... а старуха сидит и плачет: утирается подолом — и рекой течет!

Плакала она и потом, — засветив лампочку и раскалывая на полу тупым кухонным ножом сосновые щепки для самовара. Плакала и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришедшим гостям, — в то время, когда по темной, снежной улице брел к дальнему фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья которого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулеметов немцами, когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадя били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-то врата; в другом выезжал на сцену, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу копытами, и, прикладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел, за две тысячи рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысинами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в поход, и столько же нарядных дам ели в ложах шоколадные конфеты; в третьем старики и



старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими купцами и купчихами; в четвертом худые девицы и юноши, раздевшись донага и увенчав себя стеклянными виноградными гроздьями, яростно гонялись друг за другом, притворяясь какими-то сатирами и нимфами... Словом, до самой поздней ночи, пока одни караулили, а другие укладывались спать или веселились, горькими слезами плакала глупая уездная старуха под хриплый, притворно-отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозяев:

Ах, тя́жело, тя́жело, господа,
Жить с одной женой всегда.

*1916*

# Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгориях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю господа нашего Иисуса Христа. В великом покое великой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — долы Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел



Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

# Преображение

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажилась и жила так долго, что казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на полати, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете — и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору... Кому бы пришло в голову бояться ее, думать о ней!

Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша го-



рячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушка, ай тебе курятинки сварить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» — А она только дышит в забытьи, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех — отошла.

Глубокая ночь, зима. Ночь для нее, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, — обе жилые связи полны спящими, — и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забытая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество — в покойницу.

Она лежит в холодной половине — уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчовым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пуком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам — кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, — и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, — как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, — читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно

один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, — разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижное, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преображение — и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преображенном мире!

Он волшебно замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что, как некая литургия, совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчовый покров на груди покойницы — она медленно дышит! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей — и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно — этот ветер



тоже она, усопшая, это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!

Теперь Гаврило моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им — ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком — счастье, никогда ему не изменяющее.

Он простой, ласковый. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери в ее последнюю ночь среди живых.

*Париж*
*1921*

# Далекое

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате, в гостинице «Северный Полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иваныч, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловещий (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иваныч не испытывал ни малейшей доли тех тяжких чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к «Северному Полюсу». Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший шинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, нарумяненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом мопсе с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вылупленными глазами... Иван



Иваныч вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь — и уединялся за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому не ведома — даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды била всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иваныч. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели кони по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней колокольни: Иван Иваныч как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал откуда-то, взял номер в «Северном Полюсе» и стал ближайшим соседом Ивана Иваныча какой-то князь. И произошло с Иваном Иванычем нечто совершенно нежданное, негаданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, — была же старейшая сожительница Ивана Иваныча, маленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, не богатством и не внешностью, — князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжкой одышкой. И все-таки был Иван Иваныч и поражен и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то непрестанное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить,

с кем-то видеться, о чем-то хлопотать, — совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Северном Полюсе», которых перебывало на памяти Ивана Иваныча великое множество и навязываться на знакомство с которыми Ивану Иванычу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала и у Ивана Иваныча гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высовывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

— А, а вы еще не спите?

И Иван Иваныч, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал:

— Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

— Да, — говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину, — встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Иванычем, но с Иван Иваныча и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утром:



— А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иваныч выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двунадесятые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, на весь дом: «Коридорный! Чаю!» — и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иваныч делать то же, — кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иваныч, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение.

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен — для меня по моей молодости и потому, что кончились мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за

границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах и разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни... День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками, брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, заказывал в «Праге» ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком... А Иван Иваныч? А Иван Иваныч тоже куда-то ходил,



тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за тридцать копеек в кухмистерской напротив «Северного Полюса» и на номер в «Северном Полюсе». Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравнятся, завести знакомство, дружбу... Но вот приехал князь.

Чем мог он очаровать, поразить Ивана Иваныча? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иваныч зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо — не заваливаться спать в десять часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания? Разве это не молодит — зайти постричься, подравнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы? И Иван Иваныч, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие: и знакомство завел, и обезьянничать стал, — право, не больше других! — и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приобщился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в «Северный Полюс» в предвечерний час, и даже больше того: купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, — чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, — возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Иваныча к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно, но, повторяю, ничего определенного сказать не

могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иваныч и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше, как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, — никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, — князь, Иван Иваныч и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, — плохонького, за шесть гривен, — а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, — и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иваныч в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, рассовав во все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, — князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, — ах, как хороши они были, боже мой! — потом по пахучей от всякой москатели Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, — ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования, как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, позабыв и «Северный Полюс», и князя, и Ивана Иваныча, и был



бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно взывать и к ним.

— Милый князь, милый Иван Иваныч, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?

*Амбуаз*
*1922*

# В ночном море

Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией.

На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи; с криком, с дракой осаждала пассажирский трап и, как на приступ, с непонятной, бешеной поспешностью, лезла вверх со своими пожитками восточная чернь; электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытаращенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки; стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной; там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись, там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа, — они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом. А дельфинообразную тушу парохода упруго, точно на резине, валило то в одну, то в другую сторону...

Наконец стало стихать.

Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет и сак лакею и, узнав, что мест в каютах нет, прошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и, когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Пароход поднимало и опускало, медленно сносило, поворачивало течением. Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнущий морем. Ночь, полетнему простая и мирная, с чистым небом в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок, послышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь... Потом корма задрожала, зашумела винтами и водой. Низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало...



Можно было подумать, что оба пассажира спят, так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали, они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил:

— Вы тоже в Крым?

И второй, с прямыми плечами, не спеша ответил ему тем же тоном:

— Да, в Крым и дальше. Побуду в Алупке, потом в Гагры.

— Я вас сразу узнал, — сказал первый.

— И я вас узнал и тоже сразу, — ответил второй.

— Очень странная и неожиданная встреча.

— Как нельзя более.

— Собственно, я не то что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться, так что и узнавать было не нужно.

— Совершенно то же самое испытал и я.

— Да? Очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты — ну, необыкновенные, что ли? Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется.

— Может быть. Но ведь может быть и другое: то, что мы с вами просто вообразили сию минуту эти чувства нашего якобы предвидения.

— Может быть. Да, весьма возможно. Даже скорее всего, что так.

— Ну вот видите. Мы умствуем, а жизнь, может быть, очень проста. Просто похожа на ту свалку, которая

была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давя друг друга?

И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили.

— Сколько мы с вами не видались? Двадцать три года? — спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом.

— Да, почти так, — ответил второй. — Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века.

— Большой срок. Целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены.

— Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?

— Гм! Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно, то есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита и через каких-нибудь десять лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте: в могиле. Не шуточная вещь.

— Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире?

— Кто ж этого не знает! Конечно, знаю. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно?

— Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель, — сказал второй.

— Да, да, две знаменитости. Ну, так что вы хотели сказать?

— А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весть какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не десять лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее — год. У меня достоверно установленная и мною самим, и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти как ни в чем не бывало. Только саркастически усмехаюсь: хотел, изволите ли видеть, всех перещеголять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить, и на свою голову добился — великолепно узнал свою собственную смерть.



То бы меня дурачили, обманывали, — что вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми! — а тут как обманешь, как соврешь? Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересаливают в откровенности, смешанной с умилением и льстивостью: «Что ж, уважаемый коллега, не нам с вами хитрить... Finita la comedia!»[1]

— Вы это серьезно? — спросил первый.

— Совершенно серьезно, — ответил второй. — И ведь главное что? Какой-то там Кай смертен, ergo[2] умру и я, да ведь когда-то еще это будет! Но тут, к сожалению, дело совсем иное: не когда-то, а через год. А много ли времени год? Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? Да то, что я почти ровно ничего не чувствую при мысли об этом и, что хуже всего, вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят во мне студенты, когда я расписываю им свою болезнь и ее течение, как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, знающие мою роковую тайну. И вот вы, например, — разве вам страшно за меня?

— Страшно ли за вас? Нет, сознаюсь, — в сущности, нисколько.

— И, конечно, ничуть не жаль меня?

— Нет, и не жаль. И притом вы, я думаю, нисколько не верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские яблочки?

— Ну, какая там у нас с вами вера...

И опять оба помолчали. Потом вынули портсигары, закурили.

— И ведь заметьте, — сказал первый, тот, что лежал под пледом, — мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг перед другом, ни перед воображаемым слушателем. Говорим мы, право же, очень просто и без всякого предумышленного цинизма, без всякого едкого хвастовства, в котором все-таки есть

---

[1] Кончена комедия! (*итал.*)
[2] Следовательно (*лат.*).

всегда некая компенсация: вот, мол, извольте взглянуть, в каком мы положении — ни у кого такого нет. Мы и беседуем просто и умолкаем без всякой значительности, без всякой стоической мудрости. Говоря вообще, более сладострастного животного, чем человек, нет на земле, хитрая человеческая душа изо всего умеет извлекать самоуслаждение. Но в нашем с вами случае я даже и этого не вижу. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему, как вы выражаетесь, идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны.

— Еще бы! — ответил второй. — Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.

— Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену и который по целым дням и ночам, почти беспрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, — вернее, половой умиленности, — к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унизительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно. А ведь я к тому же не совсем обычный человек, особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я переживал в течение целых годов.

— Неужели годов?

— Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости, обжигала меня точно каленым железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту — это еще туда-сюда. Но любовницу или, как в нашем случае, жену! Ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души которой знаешь, как свои пять пальцев! Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не



спился, из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы! Царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидав Яшодхару, у которой «был стан богини и глаза лани весной», натворил, возбужденный ею, черт знает чего в состязании с прочими юношами, — выстрелил, например, из лука так, что было слышно на семь тысяч миль, — а потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвил им Яшодхару и сказал: «Потому я избрал ее, что играли мы с ней в лесах в давнопрошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов: вспомнила ее душа моя!» На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой: вспомнила ее душа моя!» — Вы простите меня за всю эту поэзию, но в ней огромная и страшная правда. Вы только вдумайтесь в смысл этих поразительных слов насчет вспомнившей души и в то, какой это ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Кто знает — я, может быть, тоже выстрелил бы так, что было бы слышно за тысячи миль. И вот, вдруг явились вы...

— Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? — спросил господин с прямыми плечами. — Злобу, отвращение, жажду мести?

— Представьте себе: ровно ничего. Несмотря на всю вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и «вспомнила душа моя»! Да ведь вы это хорошо знаете и сами, то есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили.

— Вы правы. Знаю. И это тоже очень страшно.

— А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас: совсем не страшно.

— Да, в сущности, ничуть. Говорят: прошлое, прошлое! А все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только, слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то...

И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел; мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, проносившейся вдоль борта; быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бечева лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном: дзиннь... Потом пассажир с прямыми плечами спросил:

— Ну, а скажите... Что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?

— Да, почти ничего, — ответил пассажир под пледом. — Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету — слегка ударило в глаза: волею божиею, такая-то... С непривычки очень страшно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, на этом роковом месте газеты, напечатанное торжественно, крупным шрифтом... Затем постарался загрустить: да, мол, и это та самая, которая... Но —

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
и равнодушно я внимал ей...

Даже и грусти не вышло. Так только, слабая жалость какая-то... А ведь это была та самая, которую «вспомнила душа моя», была моя первая и такая жестокая, многолетняя любовь. Я узнал ее в пору ее наивысшей прелести, невинности и той почти отроческой доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно, потому, может быть, что во всякой женственности должна быть эта доверчивая беспомощность, что-то детское, знак того, что девушка, женщина всегда таит в себе будущее дитя. И ведь это мне первому, в каком-то божественном блаженстве и ужасе, отдала она истинно все, что даровал ей бог, и ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, целые годы. Из-за нее плакал, рвал на себе волосы, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей, в ярости уничтожал свои лучшие, ценнейшие, может быть, работы... Но вот прошло двадцать лет — и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу... Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что



только. Да и вы теперь, — теперь, конечно, — разве вы что-нибудь чувствуете?

— Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно, почти ничего...

Пароход шел; с шипением возникала впереди волна за волной, с плеском проносилась мимо, по бортам однообразно шумела и кипела бледно-снежная дорога, тянувшаяся за кормой. Дул сладкий ветер, звездный узор неподвижно стоял в вышине, над черной трубой, над снастями, над тонким острием передней мачты...

— Но знаете что? — внезапно сказал первый, как бы очнувшись. — Знаете, что главное? Это то, что я никак не мог связать ее, умершую, с той другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак. Совершенно никак. Та, другая, была совсем особо. И сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той, другой, — ложь. Так что я неточно говорил. Совсем не то и не так.

Второй подумал.

— Ну и что же? — спросил он.

— А то, что почти весь наш разговор идет насмарку.

— Ох, насмарку ли? — сказал пассажир с прямыми плечами. — Та, другая, как вы выражаетесь, есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько.

— Вы думаете? Не знаю. Может быть... Да, может быть...

— Да и долго ли вы волновались и самим-то собой? Десять минут. Ну, полчаса. Ну, день, наконец.

— Да, да. Ужасно, но, кажется, вы правы. И где она теперь? Вот там, в этом прелестном небе?

— Один аллах ведает, друг мой. Скорее всего, что нигде.

— Вы думаете? Да, да... Скорее всего, что так...

Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И, затерянный в этой круглой чернеющей равнине, маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно кипящая, бледно-млечная дорога — туда, вдаль, где ночное небо сливалось с

морем, где горизонт, в силу противоположности с этой млечностью, казался темным, печальным. И крутилась, крутилась бечева лага, и печально и таинственно что-то отмечал, отсекал порою тонкий звон: дзи-инь...

Помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу:

— Покойной ночи.

— Покойной ночи.

*Приморские Альпы*
*1923*

# Огнь пожирающий

Это была высокая красивая женщина с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, здоровая, всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятны мне ее блестящие ореховые волосы, ее открытый и приветливый взгляд, чистый звук голоса, благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее крупном сложении, и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, отороченная соболем! С каким удовольствием входил я всегда во двор ее старинного особняка в Сен-Жерменском предместье! И вот как-то за чаем, на который она приглашала нас каждую среду, среди оживленного и беспредметного разговора, кто-то почему-то вспомнил старика В., известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, «быть тотчас же после смерти ввергнутым в пещь огненную, в огнь пожирающий без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса». Народу в гостиной было довольно много, и почти все при этом воспоминании возмутились. Неприятный был человек, неприятное остроумие! Дамы зябко содрогнулись в своих мехах, мужчины с усмешкой покачали головами. Хозяин сказал:

— Да, это чисто и скоро, эта пещь огненная, но все-таки не желал бы я попасть в нее. Уж очень жарко. Мне даже и участь Феникса не кажется завидной.

Все засмеялись, кто-то прибавил:

— Так же, как мне участь тех трех отроков, что в пещи огненной пели хвалы господу!

А еще кто-то подхватил:

— Тем более, что вы уже далеко не в отроческом возрасте...

И вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла с неожиданной отчетливостью:

— А я как нельзя более понимаю В., хотя тоже не одобряю острот в его завещании, и пользуюсь случаем заявить при всех здесь присутствующих свою непреклонную посмертную волю, которая, как известно, священна и неоспорима: после моей смерти я тоже должна быть сожжена. Да, сожжена.

И настойчиво повторила, отстраняя попытки перевести разговор опять на шутки:

— Нет, я еще раз и совершенно серьезно говорю, отлично понимая всю неуместность подобных бесед в гостиной: я этого требую, это должно быть исполнено во что бы то ни стало, невзирая ни на какие могущие быть протесты со стороны моих родных и близких.

— Да что с тобой? — сказал хозяин. — Из всей твоей речи мне понравилось только твое замечание насчет странности такой гостинной беседы. Что с тобой?

— Только то, что я воспользовалась случаем, тем, что заговорили об этом, — ответила она. — Сколько уже раз собиралась я завещать это письменно и все как-то забываю, откладываю. А мало ли что может быть? Представь себе, что я нынче внезапно умру́, — что тут невероятного?

А ровно через неделю после того именно это и случилось — она умерла перед самым выездом в театр: уже шла по вестибюлю к выходу и вдруг со странной улыбкой схватилась за руку сопровождавшего ее лакея — и тот едва успел поддержать ее. Я узнал эту совершенно дикую по неожиданности новость от знакомого на улице и почему-то с необыкновенной поспешностью пошел домой, простясь с ним. Мне показалось, что тотчас же надо сделать что-то решительное, чем-то резко проявить себя. Но дома моей изобретательности хватило только на то, чтобы торопливо набить трубку, торопливо закурить, сесть в кресло... Была весна, конец марта. Париж празднично сиял, кипел жизнью. У нас в Пасси цвели и зеленели сады. По потолку надо мной топали, бегали дети, кто-то все начинал играть на пианино что-то шутливое, милое. В открытое окно входила весенняя свежесть и глядела верхушка старого черного дерева, широко рас-



кинувшего узор своей мелкой изумрудно-яркой зелени, особенно прелестной в силу противоположности с черной сетью сучьев. Там, за окном, сыпали веселым треском воробьи, поминутно заливалась сладкими трелями какая-то птичка, а наверху топали и играли, и все это сливалось с непрерывным смутным шумом города, с дальним гулом трамваев, с рожками автомобилей, со всем тем, чем так беззаботно при всей своей озабоченности жил весенний Париж... А на другой день, в третьем часу, автомобиль мчал меня через весь город уже на кладбище Пер-Лашез: волю покойной не решились нарушить, тело ее должны были сжечь.

Едучи, я думал все то же: какая изумительная случайность! Точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены. И нужно же было кому-то ни с того ни с сего вспомнить этого старого циника! Как представить себе, как поверить в то, что через какой-нибудь час ее случайное и ужасное завещание все-таки осуществится и не останется ровно ничего даже от ее тела? И я не представлял, не верил, я смотрел по сторонам, и меня быстро уносило вперед навстречу весеннему ветру и солнцу. Но, смотря, все думал: да, вот весенний ветер, а ее уже нет! Вот солнечный блеск и Сена, а она этого уже не видит и не увидит никогда! Вот я с какой-то кощунственно-веселой быстротой мчусь по ее родному и любимому городу и втайне все-таки наслаждаюсь, а она из этого города да и вообще из всего нашего мира уже исчезла! Потом вдруг вспомнил, что *там* нельзя будет курить, и поспешно закуривал и опять думал свои путаные думы, странно согласованные с быстрым бегом автомобиля и мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа.

И вот этот бег кончился. Передо мной были ворота и стены другого города, поднятого на возвышенность, как бы некая крепость, ярко и мертво глядящая из-за стен целыми полчищами мраморных и железных крестов, мавзолеев, часовен, статуй, ангелов, гениев. Я вышел из машины и вошел в эти роковые ворота. Подъехали мы не с той стороны, с какой было нужно, и мне пришлось пересечь все кладбище из конца в конец, пройти многочисленные проспекты и аллеи, целые бульвары и улицы. Тут мысли мои опять спасительно отвлеклись на некоторое время от ужасной цели моей поездки. Я шел и

смотрел: какая музейная чистота в этом городе, какой порядок! И что за день, что за красота! Сколько ослепительной белизны, во всяческих видах сверкающей в небесной сини, среди еще сквозной черноты деревьев, осыпанной изумрудными мушками! Сколько пышных живых цветов на куртинах, у подножия крестов и бюстов, на мраморных и гранитных плитах и у входа склепов! И каким-то особым родом людей кажутся здесь все встречные, все эти мужчины и женщины, то стоящие у могил с поникшими головами, то просто мирно гуляющие. Все сдержанны, все как-то по-иному, чем в будничной жизни, скромны и просты, как-то иначе раскланиваются с знакомыми. Это город великой печали и великого отчаяния, — подумать только, какие миллионы уже легли здесь и еще лягут! Но удивительно, — какая-то благостная, душу умиротворяющая радость все-таки витает здесь надо всем. Радость чего? Весны, неба, первой зелени, мрамора? Вечной молодости мира, вечно воскресающей жизни? Или же и впрямь той жизни небесной, в которую сердце невольно и наивно верит или жаждет верить здесь?

И вдруг я поднял глаза: на широкой площади, внезапно открывшейся передо мной, высилось нечто вроде храма или, вернее, капища с круглым куполом, две высоких заводских трубы, — именно заводских, голых, кирпичных, — поднимались в небо по сторонам этого купола — и из одной черными клубами валил дым. Уже! Я опоздал, ее уже жгли! Это из той адской подземной печи, куда, верно, уже вдвинули гроб с ее телом, валил этот страшный, молчаливый дым, такой особенный, такой не похожий ни на один дым в мире!

Странно, — меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, спокойная беспощадность, с которой валил дым. И такое же глубокое молчание царило и внутри этого капища. Как окаменелые, сидели мы в его большой полукруглой зале на длинных деревянных скамьях. Народу было мало — у одних не хватило духу присутствовать при таком необычном и жутком обряде, другие были возмущены покойной, может быть, и нечаянно, невольно, но все же дерзко поправшей уставы того общества, к которому она принадлежала по своему древнему и благочестивому роду. На передней скамье сидели муж и несколько самых близких



родных — мужчины все в черном и с креповыми цилиндрами на коленях, женщины в глубоком трауре. Мы, просто знакомые, несмело поместились на скамье задней. И спины всех сидящих перед нами были согнуты, как бы подавлены той невыразимой тишиной, в которой длилось наше ожидание ужасных итогов этой ужаснейшей в мире церемонии. Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены. И зачем-то между его сдвинутыми черными полотнищами торчало бутафорское подобие золоченого гроба. А на мраморных колоннах по сторонам этих полотнищ пучили глаза изваянные совы. Кроме траурного занавеса, гроба и сов, ничто иное не обозначало зловещего назначения этой пустой залы с окнами чуть не во всю стену. Помню, — окна справа были сверху донизу залиты солнечным светом. И мертвая тишина, в которой мы сидели и ждали, казалась от этого света еще более гнетущей.

Сколько времени мы сидели? По крайней мере, час, которому, казалось, конца не будет. И что это такое было то, где сидели мы? Храм, театр? Нечто вроде присутственного места или какого-то верховного судилища, где совершается что-то самое последнее и самое жестокое над человеком? Какая-то особенно важная научная лаборатория или какой-то адский притон? Мы не знали, что это такое, мы покорно сидели, затаив дыхание, не решаясь шевельнуться. Бога здесь не было, и существование и символы его здесь отрицались. Совы пучили слепые глаза только с бессмысленным удивлением, траур занавеса говорил только о смерти. А я сидел и мысленно видел этот густой черный дым, медленно валивший из трубы в небо над нами, и в небе мне все-таки грезился Некто безмерный, широко простерший длани и молчаливо приемлющий и обоняющий жертву, приносимую ему. И так прошло двадцать, тридцать, сорок минут... Зачем-то заглядывал во входную дверь какой-то сутулый старик в траурной ливрее, очень серьезно осматривал нас и опять осторожно притворял дверь... Потом дверь снова распахнулась, и быстро, но тихо вошел щеголеватый молодой человек в траурном галстуке бантиком, быстро, но на цыпочках прошел через залу, легонько вбежал по ступенькам к занавесу и, раздвинув его черные полотнища, скрылся за ними... И опять мы сидели и, не

шевелясь, ждали, ждали... Где ее жгли? Там, где-то за занавесом, где-то в глубоком подземелье, где слепила и полыхала с невообразимой силой и яростью истинно геенна огненная. Эта геенна, этот огнь пожирающий должен действовать с быстротой всесокрушающей. Но почему же все это длится так нестерпимо долго? — И вдруг за занавесом послышались громкие, как бы наконец все разрешающие шаги, занавес раздвинулся — и молодой человек, появившийся на сцене, молча сделал нам широкий пригласительный жест.

Зачем я пошел! А я все-таки пошел. Мгновенно все во мне крепко подтянулось, и я быстро и мужественно встал, прошел между скамьями, поднялся на сцену и, следуя за другими, повернул в дверь налево, в какую-то большую комнату с голыми стенами и без окон, освещенную откуда-то электричеством. В глубине ее был какой-то железный куб с дверцами, теперь широко открытыми. Из внутренности этого куба, — он был бездонный, — тянулись в комнату две рельсы. И по этим рельсам два сторожа в траурных мундирах, два приземистых человека из той отпетой породы, что определяют себя на мрачное и низкое существование при моргах и анатомических театрах, тащили железными крюками как бы крышку стола, прямоугольник из асбеста, насквозь розовый, насквозь светящийся, раскаленный до прозрачности. И те прозрачно-розовые, инде горящие ярко-синим огоньком известковые бугры и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, это и были скудные останки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера жившего всей полнотой и силой жизни. Больше ничего! Чувствуя на лицах и руках палящий зной от этой адской сковороды, мы стояли и тупо глядели. Асбест рдел, змеился лазурными огоньками... Потом стал медленно бледнеть, блекнуть, приобретать светло-песочный цвет... И тогда я среди его неровностей различил то, что осталось от головы, от наиболее крупных костей, от таза... и еще раз весь содрогнулся от грубости и жестокости всего этого дела и, главное, от кощунственного бесстыдства, с которым мне показали что-то такое, чего никому в мире не должно видеть...

А затем все было кончено в пять минут: быстро соскребли железными лопаточками эти неровности, кое-что похватали щипцами, побросали все собранное в



мраморный ящик, замазали его крышку цементом и, положив на небольшие носилки и прикрыв траурным покрывалом, быстро понесли вон. Мы, с опущенными и обнаженными головами, последовали за носилками, видели, как быстро вдвинули ящичек в нишу в той высокой стене, которая с трех сторон окружает крематорий, как затем эту нишу замуровали, запечатали... Несчастный муж смотрел на всю эту работу с необыкновенной пристальностью. Потом, резко побледнев и приняв театрально-торжественный вид, отступил в сторону для приема того последнего рукопожатия, которое он, по французскому обычаю, должен был принять поочередно ото всех своих друзей. И, быстро и молча исполнив этот обычай, мы тотчас же почти разбежались в разные стороны, разлетелись по разным направлениям в вечереющий, залитый уже зеленовато-золотистым солнцем океан Парижа...

Мой шофер, человек грузный и короткорукий, был пьян, его лицо было густо налито лиловой кровью. И теперь он мчался уже совсем бешено, и его автомобиль поминутно ревел на бегу с какой-то свирепой наглостью и угрозой.

*Приморские Альпы,*
*1 октября 1923*

# Лапти

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, — от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть...

Стукнуло в прихожей, — Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:

— Ну что, барыня, как? Не полегчало?

— Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит...

— Лапти? Что за лапти такие?

— А господь его знает. Бредит, весь огнем горит...

Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки — все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо:

— Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.

— Как добывать?

— В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином не хитрое дело.

— Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!

Еще подумал.

— Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...



И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.

Пообедали, стало смеркаться, смерклось — Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что́ теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени и била себя в грудь:

— Господи, помоги! Господи, защити!

А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно.

Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, — белого, мерзлого, всего забитого снегом, наравзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело — оказывается, знакомый человек...

Тем только и спаслись — поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье...

За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.

*22 июня 1924*

# Книга

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степень их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, — особенно к югу, — еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.



По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, — для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

*20 августа 1924*

# Ночь

На даче темно, — час поздний, — и все окрест струится непрерывным журчанием. Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лег в камышовое кресло на балконе. Я думаю — и слушаю, слушаю: хрустальное журчание, наваждение!

Ночная бездонность неба переполнена разноцветными, висящими в нем звездами, и среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь, двумя неравными дымами склоняющийся к южному горизонту, беззвездному и поэтому почти черному. Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкий и низкорослый. С балкона открывается ночное море. Бледное, млечно-зеркальное, оно летаргически-недвижно, молчит. Будто молчат и звезды. И однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон стоит во всем этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну.

О чем я думаю?

«Решился я испытать разумом все, что делается под солнцем; но это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя... Бог сотворил людей разумно, но, увы, люди пустились в большую затейливость». И Екклезиаст отечески советует: «Не будь слишком правдив и не умствуй слишком». Но я все «умствую». Я «слишком правдив».

О чем я думаю? Когда я спросил себя об этом, я хотел вспомнить, о чем именно я думал, и тотчас же подумал о своем думанье и о том, что это думанье есть, кажется, самое удивительное, самое непостижимое — и самое роковое в моей жизни. О чем думал я, что было во мне? Какие-то мысли (или подобие мыслей) об



окружающем и желание зачем-то запомнить, сохранить, удержать в себе это окружающее... Что еще? Еще чувство великого счастья от этого великого покоя, великой гармонии ночи, рядом же с этим чувство какой-то тоски и какой-то корысти. Откуда тоска? Из тайного чувства, что только во мне одном нет покоя — вечное тайное томление! — и нет бездумности. Откуда корысть? Из жажды как-то использовать это счастье и даже эту самую тоску и жажду, что-то создать из них... Но и тут тоска, Екклезиаст: «В будущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И любовь их, и ненависть, и ревность давно исчезли, и уже нет им участия ни в чем, что делается под солнцем».

О чем я думал? Но не важно, о чем именно думал я, — важно мое думанье, действие совершенно для меня непостижимое, а еще важнее и непостижимее — мое думанье об этом думанье и о том, что «я ничего не понимаю ни в себе, ни в мире» и в то же время *понимаю мое непонимание,* понимаю мою потерянность среди этой ночи и вот этого колдовского журчания, не то живого, не то мертвого, не то бессмысленного, не то говорящего мне что-то самое сокровенное и самое нужное.

Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что́ во сто крат больше меня, и, значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое, — истинно частица бога.

Да, но ведь эта частица того не имеющего ни формы, ни времени, ни пространства, что́ и есть моя гибель. Вкусите и будете как бог. Но «бог на небе, мы же на земле». Вкушая, для земли, для земных форм и законов умираем. Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен. Но эти-то божеские свойства и ужасны для меня. И если они все растут во мне, я для своей человеческой жизни, для этого земного «бывания» и «делания» гибну...

Неподвижно темнеют мелкие деревья в саду.

Между ними сереет галька, белеют белые цветы в цветнике, а дальше — обрывы — и млечной плащаницей подымается в небо море.

В этой млечности есть зеркальность; но на горизонте сумрачно, зловеще: это от Юпитера и оттого, что там, в южном небосклоне, нет почти звезд.

Юпитер, золотой, огромный, горит в конце Млечного Пути так царственно, что на балконе лежат чуть видные тени от стола, от стульев. Он кажется маленькой луной какого-то иного мира, и его сияние туманно-золотистым столпом падает в зеркальную млечность моря с великой высоты небес, меж тем как на горизонте, в силу противоположности со светом, мрачно рисуется как бы темный холм.

И непрестанный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, похож то на миллионы текущих и сливающихся ручьев, то на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальной спиралью цветы...

Только человек дивится своему собственному существованию, думает о нем. Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недумании о себе. Но ведь и люди отличаются друг от друга — степенью, мерой этого удивления. За что же отметил меня бог роковым знаком удивления, думанья, «умствования» так сугубо, зачем все растет и растет во мне оно? Умствуют ли мириады этих ночных, степных цикад, наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей любовной песнью? Они в раю, в блаженном сне жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них и они в нем, а я уже как бы со стороны гляжу на него. «Пожирает сердце свое глупец, сидящий праздно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять...»

Я слушаю и думаю. И от этого я бесконечно одинок в этом полночном безмолвии, колдовски звенящем мириадами хрустальных источников, неиссякаемо, с великой покорностью и бездумностью льющихся в какое-то бездонное Лоно. Горний свет Юпитера жутко озаряет громадное пространство между небом и морем, великий храм ночи, над царскими вратами которого вознесен он как знак святого духа. И я один в этом храме, я бодрствую в нем.

День есть час делания, час неволи. День во времени, в пространстве. День — исполнение земного долга, служения земному бытию. И закон дня повелевает: будь в делании и не прерывай его для осознания себя, своего



места и своей цели, ибо ты раб земного бытия и дано тебе в нем известное назначение, звание, имя. А что есть ночь? И подобает ли человеку быть пред лицом ее в бодрствовании, в том непостижимом, что есть наше «умствование»? Заповедано было не вкушать от запретного плода, и вот послушай, послушай их, этих самозабвенных певцов: они не вкушали и не вкушают! И что иное, как не славословие им, вынесли Екклезиасты из всей своей мудрости? Это они сказали: «Все суета сует, и нет выгоды человеку при всех трудах его!» Но они же и прибавили — с горькой завистью: «Сладок сон работающего! И нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, и есть с веселием хлеб свой, и пить в радости сердца вино свое!» Что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок свободен, что снято с него его земное назначение, его земное имя, звание, — и что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение: бесплодное «умствование», бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание сугубое: непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца.

У меня их нет, — ни начала, ни конца.

Я знаю, что мне столько-то лет. Но ведь мне сказали это, то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, а следовательно, и счета моих лет, но даже и того, что я существую по причине рождения.

Рождение! Что это такое? Рождение! Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало ни в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне почти тождественно. «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И я сам испытал подобное (как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках): испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле.

Самообман? Самовнушение?

Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как же могли они, столько раз передававшие своим потомкам и наконец передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бров-

ных дуг, как могли они не передать и более тонкой, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Есть боящиеся змей, пауков «безумно», то есть вопреки уму, а ведь это и есть чувство какого-то прежнего существования, темная память о том, например, что когда-то древнему пращуру боящегося постоянно грозила смерть от кобры, скорпиона, тарантула. Мой пращур обитал в Индии. Почему же, при виде кокосовых пальм, склоненных с океанийского прибережья, при виде голых темно-коричневых людей в теплой тропической воде, не мог вспомнить я того, что́ я чувствовал некогда, будучи своим голым темно-коричневым предком?

Но нет у меня и конца.

Не понимая, не чувствуя своего рождения, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может, и ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без единого живого существа, острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти — и все-таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру. Смерть! Но каждые семь лет человек перерождается, то есть незаметно умирает, незаметно возрождаясь. Значит, не раз перерождался (то есть умирал, возрождаясь) и я. Умирал — и, однако, жил, умер уже многократно — и, однако, в основе все тот же, что и прежде, да в придачу еще весь полон своим прошлым.

Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления времени, пространства. И с годами все больше не только чувствую, но и сознаю я это.

Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость и недостаточность всех моих способностей, я, по сравнению с некоторыми, и впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то (то есть в силу моей некоторой необычайности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей) мои представления и ощущения времени, пространства и самого себя зыбки особенно.

Что это за разряд, что это за люди? Те, которых называют поэтами, художниками. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих, — то есть, как принято говорить,



способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть особенно сильное. Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой...

Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Разительное сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми! И вообще, сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды (и припадки Магомета, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока», то есть вне всяких законов времени и пространства, переносили из Медины в Иерусалим — на Камень Мориа, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным).

Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи, — вот она, эта звенящая, колдующая Майя, послушай, послушай ее! — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...

Слабое движение воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходит до балкона. И через минуту слышится шорох, тихий вздох полусонной волны, медленно накатившейся где-то внизу на берег. Счастливая, дремотная, бездумная, покорная, умирающая, не ведая того! Накатилась, плеснула, озарила пески бледно-голубым сиянием, — сиянием несметных жизней, — и так же медленно потянулась назад, возвращаясь в колыбель и могилу свою. И несметные жизни поют окрест как будто еще исступленнее, и Юпитер, золотым потоком льющийся в великое зерцало вод, блещет в небесах как будто еще страшнее и царственнее...

Разве я уже не безначален, не бесконечен, не вездесущ?

Вот десятки лет отделяют меня от моего младенчества, детства. Бесконечная давность! Но стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять. Не раз испытал я нечто чудесное. Не раз случалось: вот я возвратился в те поля, где я был некогда ребенком, юношей, — и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира, какое было у меня вот здесь, на этом проселке, в дни моего детства, отрочества!

В такие минуты не раз думал я: каждый миг того, чем я жил здесь когда-то, оставлял, таинственно отпечатлевал свой след как бы на каких-то несметных, бесконечно-малых, сокровеннейших пластинках моего Я — и вот некоторые из них вдруг ожили, проявились. Секунда — и они опять меркнут во тьме моего существа. Но пусть, я знаю, что они есть. «Ничто не гибнет — только видоизменяется». Но, может, есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению, не подвергается ему не только в течение моей жизни, но и в течение тысячелетий? Великое множество таких отпечатков передано мне моими предками, пращурами. Богатство способностей, гений, талант, — что это, как не богатство этих отпечатков (и наследственных, и благоприобретенных), как не та или иная чувствительность их и количество их



проявлений в луче того Солнца, что откуда-то падает на них порою?

Недавно, проснувшись случайно на рассвете, я вдруг поразился мыслью о своих годах. Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо — человек, проживший сорок, пятьдесят лет. И вот таким существом стал наконец и я. Что же я такое, сказал я себе, чем именно стал я теперь? И, сделав маленькое усилие воли, взглянув на себя как на постороннего, — как дивно, что мы это можем! — я, конечно, совершенно живо ощутил, что я и теперь совершенно тот же, кем был и в десять, в двадцать лет.

Я зажег огонь, посмотрел в зеркало: да, есть уже сухость, определенность черт, есть серебристый налет на висках, несколько поблек цвет глаз... Но что с того?

И я особенно легко встал, вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по-ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно рождающийся день, слабо и таинственно разделивший на уровне моей груди их полутьму.

Покой, особый, предрассветный, царил еще и во всем том огромном человеческом гнезде, которое называется городом. Молчаливо и как-то по-иному, чем днем, стояли многооконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными и столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности. Молчаливые (и еще пустые, еще чистые) лежали подо мной улицы, но уже зелено горели газовые огни в их прозрачном сумраке. И вдруг опять испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь, когда мне случается проснуться на ранней заре, — испытал чувство великого счастья, детски доверчивой, душу умиляющей сладости жизни, чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного — и близости, братства, единства со всеми живущими на земле вместе со мною. Как я понимаю всегда в такие минуты слезы Петра-апостола, который именно на рассвете так свежо, молодо, нежно ощутил всю силу своей любви к Иисусу и все зло содеянного им, Петром, накануне, ночью, в страхе перед римскими солдатами! Я опять пережил совершенно, как свое собственное, это далекое евангельское утро в Элеонской оливковой роще, это отречение Петра. Время исчезло. Я всем существом своим почувствовал: ах, какой это ничтож-

ный срок — две тысячи лет! Вот я прожил полвека: стоит только увеличить мою жизнь в сорок раз, и будет время Христа, апостолов, «древней» Иудеи, «древнего» человечества. *То же самое солнце*, что когда-то увидел после своей бессонной ночи бледный, заплаканный Петр, вот-вот опять взойдет и надо мною. И почти те же самые чувства, что наполнили когда-то Петра в Гефсимании, наполняют сейчас меня, вызывая и на мои глаза те же самые слезы, которыми так сладко и больно заплакал Петр у костра. Так где же мое время и где его? Где я и где Петр? Раз мы так слились хотя бы на мгновение, где же оно, это мое Я, утвердить и выделить которое так страстно хотелось мне всю жизнь? Нет, это совсем, совсем ничего не значит, — то, что я живу на земле не во дни Петра, Иисуса, Тиверия, а в так называемом двадцатом веке! И сколько я жил в воображении чужими и далекими жизнями, чувством, будто я был всегда и всюду! А где грань между моей действительностью и моим воображением, моими чувствами, которые есть ведь тоже действительность, нечто несомненно существующее?

Всю жизнь, сознательно и бессознательно, преодолеваю, разрушаю я пространство, время, формы. Неутолима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, но и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков. Зачем же? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя, обогащаясь и усиливаясь?

Есть два разряда людей. В одном, огромном, — люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что́ им до того, что так страшно ускользает в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, очень сравнительно малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету делания и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди «умствования», уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждующие, тоскующие о



всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же — о каждом миге своего настоящего. Эти люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Эти люди райски чувственные в своем мироощущении, но рая уже лишенные. Отсюда и великое их раздвоение: мука ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее — и сугубого, страшного очарования ею. И каждый из этих людей с полным правом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды. Ты пребывал в покое, но Ты сам нарушил его: Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!» Так, господи, я уже слышу тебя. Но еще горько мне разлучение с обманной и горькой сладостью Бывания. Еще страшит меня твое безначалие и твоя бесконечность...»

Да, если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!

В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь. Кто и зачем обязал меня без отдыха нести это бремя — непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствования, единения, слияния с ними? С младенчества никогда ничего не чувствую я, не думаю, не вижу, не слышу, не обоняю без этой «корысти», без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не

только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, удивления и вечной жизни. Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, — высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой, — зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле-то я не устрояющий, а разоряющий себя — и не могущий быть иным, раз уже дано мне преодолевать их, — время, пространство, формы, — чувствовать свою безначальность и бесконечность, то есть это Всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паук паутину свою.

А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это Всеединое, но сладка их песнь, лишь для меня горестная, — песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения!

Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного молчания, предельной недвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь. «Ночь ночи передает знание». Какое? И не в этот ли сокровенный, высший час свой?

Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного неба, — уже много крупных предутренних звезд взошло на него. И уже совсем отвесно падает туманно-золотистый столп сияния в млечную зеркальность летаргией объятого моря. И как будто еще неподвижнее темнеют мелкие деревья, ставшие как бы еще мельче, в этом скудном южном саду, усыпанном бледною галькой. И непрестанный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, стал еще более похож на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальными винтами цветы... Чего же наконец достигнет это звенящее молчание?

Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним —



опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегаю с балкона, яду, хрустя галькой, по саду, потом бегу вниз, с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней... Нет, еще не настал мой срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вожделенно мне это водное ночное лоно...

Боже, оставь меня!

*Приморские Альпы,*
*17 сентября 1925*

# Божье древо

*14 июня.*

Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка однодворца из-под Козлова.

Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе — мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:

— Господам дворянам почтение!

Мы приостановились:

— Доброго здоровья. Караульщик?

Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:

— Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угожать.

— Так... Надевай шапку-то.

— Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.

— А откуда ты и как величать тебя?

— Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно — по говору. Возраста неопределенного, — лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, — наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти, — все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой, кое-где седеющей бородой, которая



еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:

— Вот чаек себе налаживаю. Самоварчика, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугунчика попьем...

Мы заглянули в шалаш, — там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек...

— Домок, как у зайца тяремок, — еще раз пошутил он. — Милости просим гостями быть...

В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:

— А как думаешь, будет дождь?

Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:

— Кабыть так. Маяго кобелькя нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожжу, она, мышь-крыса усякая, перед дожжем сильней пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем...

Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, таперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.

Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговарить):

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?

Мы невольно засмеялись — так ловко у него это выходило — и опять приостановились:

— Как, как?

— А вы раззе ня знаятя? — ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос:

Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?

И стал пошевеливать плечами, покачивать головой:

Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не спознал,
Спознали два луня,
Спознали два друга;
— Ты приветь мине, луня,
Поди замуж за мине!

— А она, значит, не жалае, не хоча, — сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:

А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась —
Кверху ногою,
Об пень головою...
Ах, що ж это в лесе?
Каго это бося?

*15 июня.*

Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:

— А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?

— Я-то? — сказал он. — А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Мая душа прямая, все примая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить ни плохо.

— А насчет водочки как?

— А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Хто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный — отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Понурая голова и с рублем пропадае!

Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродится нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и



приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает. Между прочим, спросил:

— А вы що ж, господа, только лето тут, а то все в Москве?

И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями — и рассказал целую историю о том, как будто бы приехал однажды в деревню некий московский «обуватель», то есть обыватель, как он ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой за избу: сел там да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему «причинное место» оторвали.

— Он как вскоча: ах, що ж мне мол, таперь делать, да за ними, — не успел и штанов подхватить, — а оне по деревне да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карогод...

Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, — бросился, значит, бежать, — и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками.

— Ах, батюшки, да що ж эта такое, вот срам-то, девки!

— А ты был когда-нибудь в Москве? — спросили мы.

— А на що она мне? — сказал он с веселой небрежностью. — Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство, усе норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что ни есть уха́мить... А вы, я слышал, на степь ездили?

— Да, — ответили мы. — Да это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету.

— Это правда, у вас тут буераков много, — сказал он. — А вот как выедешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется, конца-краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там! И овсы, и ячменя, и твяты (цветы) усякие, и ковыль белый, седатый... Я так полагаю, лучче нашей державы во всем свете нету!

Потом рассказал, где, в каких «странах» он бывал — «за самый Царицын подавался», — какие «народности» видел, и я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, древних даже, почти всеми забытых: изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взгнетать вместо зажигать... Нагайцев он назвал кумане, — древнее название половцев, — конину мáханиной. Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так:

— Он любит *воять* в темные ночи.

*16 июня.*

Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака.

Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков: тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубахе и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю:

— Что, Яков Демидыч, не весел?

Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли:

— Чем не весел?

— Да как же, — шапка на лоб, идешь грустный.

— Чем грузный?

— Да не грузный, а грустный, скучный.

— Скушный? Никак нет. По чем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не по́ чем, я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе, сейчас кашку сабе совосто́жу... Я люблю по садам сидеть, люблю, кода ветвей много, а у вас этого вволю, сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек. Я, господа хорошие, — сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами, — я живу, как бог вялит, я, как говорится, божья древо: куды ветер, туда и она...



Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными зевсоподобными главами вставали из-за столетних берез на валу, за лощиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду, с блаженной беззаботностью, игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга... Отчего так особенно прекрасно все старинное, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно, услыхал? Яков, спиной ко мне, сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней, чугунчик с водой и опять пел, — вполголоса, нежно и жалобно:

Мой стон и грусти люты
Вообрази сабе
И вспомни те минуты,
Как был я люб табе...

И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями:

Ах, сыпься, горох,
На двенадцать дорог,
Кода буду помирать,
Тода буду подбирать!

— Яков Демидыч, — сказал я, подходя, — где ты мог эту песню слышать?

— Какую? — спросил он, оборачиваясь.

— А вот эту, про стон и грусти люты? Теперь таких песен не поют, эта песня старинная и к тому же господская.

— Это правда, — ответил он, — эта песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть: «Я не помню в оный час твоея досады», а еще «От несклонности твоей дух во мне мечется», а еще «Мне припятства ни по чем, не спасусь любови». Могу и про девок: «Есть-ли девки все метрессы, бросим мудрости и мы...» Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже, бают, господа были. Над нами барские и теперь еще смеются: ты, мол, га́лман, чьих господ барин?

— Кстати, — сказал я, — что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство, что ты зимой делаешь?

— Да ведь вы мине про то не спрашивали, — ответил он. — А сам я не насмелился. А ну-ка вам эта безо всякой надобности? А семьи у мине нету, первая жана померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить, соскучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел, сапожничает, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало... Постойте-ка, вас, никак, к столу кличут?

— Ну, видно, до вечера, — сказал я и пошел в дом.

Божье древо — это очень неплохо сказано.

*17 июня.*

Жить, говорит Яков, надо так, как жили деды, прадеды. Новшеств, однако, не отвергает:

— Вот, скажем, таперь молотилки пошли. Що ж, эта не бяда. Бывалыча, как станем гужом, в двадцать цепов, да как вдарим враз — заслушаешься, до чего ладно выговаривая! Ну, а в сырую погоду, знамо дело, молотилка куда удобней.

Царя ни в чем дурном не винит:

— Министры виноваты. Вроде как господские бурмистры в прежнее время...

Богатым он не желал бы быть: объешься, обопьешься, будешь по перинам валяться, а пух человеку вреден, имеет будто бы свойство «притягивать». Но жить в достатке, конечно, не прочь бы.

Смерти не боится, — по крайней мере, утверждает так. Сказал с нарочитой развязностью.

— Вона, чаго ее бояться! Все равно, никто жалеть не будя. Лес по дереву не тужит!

Беседуя, он все время пристально работал: делал себе лозниковую дудку, я, говорит, люблю эти дудки и жилейки, буду вам играть «Во лузях», лучше этой песни во всем свете нету: «Расцвяли твяты лазоревые, понеслись духи малиновые...»

Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты, подоконники горят на солнце. На подоконниках насыпаны и сохнут, сладко пахнут лепестки роз. В саду — радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро. И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека.



*18 июня.*

Едем в Субботино, на станцию, встречать городских гостей.

Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, хотя поезд приходит четверть пятого. Впрочем, запрягали, как всегда, часа два: покуда тарантас выкатили из каретного, покуда его подмазали, покуда сбрую собрали, покуда лошадей вычистили и напоили...

Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже два раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день. Зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке. Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартука пахнет необыкновенно приятно... Яков с узелком под мышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам.

— Ай в город? — спросил он, с усмешкой щурясь от солнца и приостанавливаясь. — Вот иду на речкю по своему вдовьему делу, постирушечкя есть кое-какая... А вы в город? Що ж вы в такой вар, в самую жару средидневную? — сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от этой жары и обилия света.

Я ответил, что едем гостей встречать, на станцию.

Он засмеялся:

— Ну, эта еще вволю на станции насидитесь! Она беспременно опоздает, машина-то. Ведь она как идет? Я так-то, кода еду по ней, захочу соскочу, земляники наемся и опять ее догоню... А гостечки, это ничаго, хорошо. Я, прежнее время, эта любил, — погостевать, попировать у хорошего соседа. У нас в старину село богатая была, сходка, бывало, соберется — все тузья, бояре, угошшали радушно, на полный рот. Бывало, не выдерешься с этого пиру, беседы: только поднялся, — ну, мол, спасибо, сидушка, сладок мед, да не по две ложки в рот, ко двору пора! — опять силком на лавку валят: стой, сват, давай еще по единой, по стремянной выпьем!

— Это что же за стремянная такая? — насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с дугой.

— Вот и вышел Иван, — сказал Яков. — Как же ты не знаешь? Эта, значит, по самой последней, когда уж в

стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на пиру обносят, ложкой кормят, стеблóм глаза колят, кажный стаканчик считают...

*19 июня.*

Погоду сглазили, нынче весь день льет.

Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя, к ужину (проездивши даром, гости обманули). Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых мотающихся ветвей. Месяц был странный — совсем оранжевый. В небе над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах, с надеждой на чудесную погоду, — так сладко успокоилось все к полночи и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно-тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра.

После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями, всюду все пересыщено водой, — трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой, цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову:

— Вона, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости господи. Мой кобелек и тот не вытерпел: забился в салас, весь день почивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила?



— Какая Аниска?

— А ваша, стряпухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегаются, накатаются по двору — и под водовозку, либо под крыльцо: обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно.

— Умильно-то умильно, — сказали мы, — а вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше, — во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится.

— Нет, я ночевал смирно, — ответил Яков. — Она протекать-то как следует стало только нонче. А дожжок, это для хлебов таперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все слава богу. Вы вчера поехали, а я думаю: ой, прихватит моих господ к вечеру! Ну, и правда, и грозу же разыграл господь! Как полыхнет, полыхнет — хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у сотского двух ребят убило, у князя в саду самое толстолетнее древо повалило...

— Ну, вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы.

— А как же быть-то? — возразил он. — Убило — значит, не подвертывайся. Що, значит, кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный, один богатый, другой побирушка, он помер нонче, а я завтра...

Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не прорвано ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий:

— У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело — стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да що ж, я не жадный. Я своей скудости не стыжусь: чем девчонка виновата, что юпчонка маловата? Одна беда — детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их — баба, правда, отменная была. Я с ней осемнадцать годов отжил и девять человек наплодил.

— Значит, любишь это дело? — пошутили мы.

Он тотчас же, в угоду нам, подхватил шутку.

— Баб-то? А кто ж их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай какую хочешь. При старости при такой не гребуют никакой, у чужом у краю и с рябой как в раю. Вон, бают, господа какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в ру-

кавицах не оттащишь: старая кобыла борозды не испортит! А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех бог по одному прибрал, мне и стало посвободнее. А как и жана померла, я семь годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. Ан суседки зачали сбивать, что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать... Жанись да жанись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе...

— Постой, как убили? Кто убил?

Он мотнул головой и засмеялся:

— Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные жадные, áредные, черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал — приловчился у них в отарах овечек поворовывать, а они и поймай его. Схоронились тактo в яруге, в балке, а как завидели, что он ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да по чем попадя глушить... Так до смерти и засекли. Ну, а я в ту пору и жанился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, думаю, за меня за такого пойдет, за старого да вдового? Ан все случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной, а там нищенка, дурочка, сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и вспрашиваю, смеху ради: «Что ж ты, дескать, шатаешься, побирушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. Авось, мол, ума большого там с тебя не спросят». — «Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы». Ишь ты, мол, какая шустрая! За хорошую! При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примеру, хорошая голова, — дескать я, — пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость: стар пестрец, да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада-радехонька. Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, побирушка, а красотой так даже я перед ней король. Повенчались наране Успенья, а она пожила осень да зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала: ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты кобель, у тебя нету ничего... Понятно, обыкла шататься, работой скучает, ну и ушла, слава богу...

— Так ты теперь и живешь один? — спросили мы.

— Так вот и живу, — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. — Так и живу, бояре хорошие, — сказал он, легонько вздыхая. — Когда будем помирать, тогда будем



горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, вóлну бью по суседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету.

— Ну, а дети твои? Они дома живут?

— Дети у меня никуда, — сказал он. — Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромой, пьяница, сапожник... Сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит! А как у самого нужда — сейчас к отцу: «Батя, помоги!» Ну, и помогаю по силе-мóчи...

*21 июня.*

И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросно ярка зелень сада.

Яков вчера отсыпался на печке в людской, — «прозяб маленько»! Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой... Яков, конечно, не унывает:

— Ничего! Авось не первая волку зима! Мы этих бурей не боимся!

И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая, в одной грязной рубашонке, опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе.

— Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается... А вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай помазком себе голые ноги холить! Явилась в избу — мать так и ахнула...

Перед вечером проглянуло с запада солнце. По низу аллеи, между стволами, стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили, — теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за «чайкём».

— А ты, Яков Демидыч, сказки разные, стихи, былины знаешь?

— Это как побирушки-то на ярмарках кричат? Это я много знаю. Я три лета при свечной лавке жил, ездил торговал с прикашшиками по селам, по престольным праздникам, — нас семь подвод было. Они страсть как кричат, эти калеки перехожие. Как поднимут, поднимут «разжалкие папашечки...»

— А ты можешь по-ихнему кричать?

— Вона, еще бы табе!

И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос, на разные голоса вопить:

— Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте Лазарю убогому, безногому! Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не можа, смальства страдая! Ваша подающая рука, которая подавает, та вовек не оскудевает! Ваша подаянья на огне не горит и в воде не тонет, ее моль не ест, ни ржа не точа! Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения! Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасенью угодите! Разжалкие сестрицы, братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем — ни злата, ни сéребра, ни богачества, ни имения! Смальства он, Лазарь, не ходил, не служил, согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть! Небесная птица, не можа ее без крыла по воздуху носить, так бедный калека не можа на своих ножках ходить! Разжалкие наши питатели, вы подайте свое верное подаянье ни другу, ни брату, — подайте самому господу богу святу!

Кончив, он открыл глаза, засмеялся и, опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахару, назидательно прибавил:

— Вот они как кричат, народ обманывают. Их всех надо по тюрьмам рассажать, они там сытые и на всем готовом будут.

— Ну, а какие ты сказки знаешь? — спросили мы.

Он подумал, весело глядя в землю:

— Сказки? Про Конькя-горбунькя знаю, про младаго Ивана Царевича, как он по охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея Божьи человеки...

И, опять прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочный лад речи с обыденным:

— У главном городе у Рыме, при первом царю при Онории, при великом князе Претемьяну, жил, значит, князь со княгинею. Он усердно молился, трудился, просил себе детища у матери госпожи пресвятой богородице. Создай мне, дескать, господи, единую чаду, при младых лет на посмотрение, при старости на призрение. И вскорости, значит, так по его молитве и вышло дело. Алексей Божьи человеки скитался и спасался, а мать с отцом его не узнали, за побирушку почитали. И возговорит он тут отцу-матери, состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зяленом саду, где всякий мусор мечут и помои свиньям льют. Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами, иконами, с пресвятой госпожой богородицей и тут, значит, и век свой младой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог и гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя: «Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою младость успокоили!»

Когда он кончил и это и, убирая в шалаш чугунчик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить да какой-нибудь закусочки закусить, мы спросили:

— А что ты из закусок больше всего любишь?

— Из закусок-то? — отозвался он. — Да что ж, вот селедочки не плохо закусить, бараинки жареной, пирожка с сомовинкой... ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареной... Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в Ельце служил. Там и насчет этого самого щепоточного, насчет баб то есть, было вольно. Ну, только я на это не льстился. Дома дело другое. Там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу какую, ножницы, скажем, поточишь, али вялёк, каким на речке белье колотят, вырубишь, вот и расход весь. И самому лестно, и ей удовольствие...

*24 июня.*

Дождь, дождь и дождь.

С Яковом не видались давно, только немножко поболтали вчера вечером.

Сидит на соломе, ест кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку, на стене шалаша

чернеет его большая тень. Снаружи, по шалашу, шуршит ветер с дождем, кругом, в саду, непроглядная чернота... Между прочим, опять попробовали попытать его насчет смерти:

— Вот ты говоришь, тебе пятьдесят седьмой, значит, лет через десять, может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом, боишься?

— Нет, не думаю. Двум смертям не быть, одные не миновать. Чаго ж ее бояться!

— Да как же не бояться, ты только представь себе: вот в такую вот ночь да в гробу, в могиле, на кладбище...

Но он опять стал отделываться шутками, — видно, что разговор этот ему пока (то есть пока он здоров) совершенно неинтересен:

— Да авось туда, в могилу-то, не протечет, мелко не положат...

Разговор о боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен: «А, вон оно что, этот рай! Да какой же это рай? Ни трубочки, ни водочки! Кабы трубочкя, да водочкя, да кисет с табачкём, вот это иная была бы статья!»

— А нам думается, — сказали мы, пытая его, — ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада.

Но тут он не согласился:

— А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и бога нету? Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру сказать, бог травы, кормов, вся бы скотина поколела...

Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились — «вот как братья на селе делятся»!

— Тебе, говорит Христос, пущай мертвые достанутся, — тебе же лучше будет, мертвых-то ведь больше, — а мне, значит, живые... А потом обдумался да и на попятный: ведь как же, ведь все они, живые-то, тоже когда-нибудь мертвые будут? И, значит, сошлись на том, что которые упасутся — ему, богу, а которые нет — дьяволу...

*26 июня.*

Дождь. Разговор о цели жизни:

— Яков Демидыч, для чего ты на свете живешь?

— Как для чего? Вот ваш сад караулю.



— Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился, для чего на земле существуешь?

— А господь его знает.

— Значит, не знаешь?

— А кто ж это знает?

— Да ведь надо знать. Надо думать, додумываться.

— Я и думаю.

— Ну, и что ж ты надумал?

— Надумал-то? По совести сказать, не знаю.

— А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить, жить в свое удовольствие?

— Нет, это я бы заскучал.

— Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же?

— А чтоб радость была.

— Радость! А это разве не радость, — сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть?

— Это сама собой.

— Значит, не в этом одном дело?

— Стало быть, что нет.

— А в чем же?

Думает. Потом смеется:

— В чем да в чем! Мы вот так-то возили раз с покойником родителем хлеб с поля, а я и пристань к нему, — что, да как, да зачем, — я тогда еще совсем коростовый был, — он молчал, молчал, да и говорит, наконец: «Вот как пущу тебе, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь зачем!»

*28 июня.*

Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется: опять наступили прекрасные дни.

Нынче Яков сказал мне:

— А народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню серничков купить, иду задворками, а на гумне мужик стоит, а по меже ко ржам во весь дух бежит девочка лет семи али восьми... Бежит и, навзрыд

плача, спешит изо ржей телушку выгнать, а он стоит и орет на всее поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная — и орет безо всякой совести: «Опять телушка во ржи, так-то твою так? Ты так-то за ней глядишь, распротак твою так?» — Я просто диву дался, до чаго свинья, невежа! Можно разе так-то на свое дитя кричать?

— Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету, — сказал я.

— А що ж? — поспешно и бодро ответил он. — Конешно, нету. Только, конешно, нас учить надо. Кабы подойтить к этому самому дураку да дать яму, щоб красные сопли потекли, небось в другой раз не горланил бы так-то! А еще и то сказать: не все ж и у вас подобные. Я вот нынче утром пастуха у вас за гумном видел: ну, до чаго хорош! — сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхищения. — Сядит на меже и портки себе жжет! Скотина по всему полю разбрелась, а ему и горюшки мало! Вынул это стекло жгучее и наводит на портки: как солнце из-за облака выйдет — от порток дым столбом! Що ж ты, говорю, дурак, делаешь, ай маленький? Ведь тебя жанить давно пора! А у него рот до ушей от радости: да уж больно, говорит, чудно, дяденька! — А где ж ты ее взял, это самое стекло? — А мне брат солдат принес... Нет, — сказал он с удовольствием, — наш народ хороший, обоюдный!

Я сообщил ему, что завтра уезжаю.

— Ну, що ж, — сказал он весело и равнодушно. — Дай бог час. Живы будем, еще, можа, повидаемся... А далеко едете-то?

Я ответил, что на юг, к морю, купаться.

Он весело изумился:

— Как купаться? Да вы бы дома-то, в речке? А какие же там жители? Наши ай немцы?

— Там больше татары, — ответил я.

— А! — сказал он, немножко насмешливо улыбаясь. — Этих я люблю. Они, слух есть, нами сто лет владали. А известно — конь ездока любит. Опять же смирный народ, ласковый. Скажешь ему: здорово, мол, князь, есть платки? — он так и вскинется весь: «Есть, бачка, есть!» — «А магометовы портки?» — «Тьфу, не хорошо, грех так-то говорить!» И больше ничего. Не то что жиды — те



страшные обидчивые... А скучать вы не скучайте, — прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать, это всегда так перед отъездом, все будто жалко чего-то, а в дороге, глядь, и разгулялся и забыл всех...

И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями:

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка!

*Приморские Альпы*

*1927*

# Темные аллеи

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами: подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново



белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед затем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.



— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и

тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

*20 октября 1938*

# Поздний час

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый, и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мо-

стами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное — русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья — и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.

В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел — большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени — только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, — он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но



я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе — все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний — и не мог; да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только немного у́же, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти срединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат — все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь, давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое

благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком — одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.



Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара — по Монастырской — к выезду из города.

Базар как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над срединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бегут, женственно, щёпотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.

Монастырская улица — пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим — в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме — на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черными султанами — перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis[1]. — Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым вен-

[1] Дай им вечный покой, господи, и да светит им вечный свет (*лат.*).

чиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.

На выезде, слева от шоссе, монастырь времен царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу — светлые и темные пятна, все пестревшие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня — я, вне себя, шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту — и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.

*19 октября 1938*

# Руся

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва—Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой местности на каникулах, — сказал он. — Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный, — хозяева были люди обедневшие, — за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам,

и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, — то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам, — оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

— Тоже, значит, в русском стиле?

— Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?



— Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо ответил:

— Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

— Да ничем. Уехал, и делу конец.

— Почему же ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

— Нет, серьезно?

— Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни — подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда — и

как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотаньем; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

— Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

— Историю французской революции.

— Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

— А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

— Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой...



День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! — бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец. Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем еще девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

— Правда хорошо? — крикнула она.

— Очень! — ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: — Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пьявок.

Она положила картуз к себе на колени.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестевшую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула — и лодка повалилась набок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой — он едва успел вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

— С первого дня нашей встречи!

— И я, — сказала она. — Нет, сначала ненавидела — мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее — мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачем?

— Какой глупый! Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и греби к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь



я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она исступленно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинув голову назад, и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светлячками, — стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражающийся в плоско белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары — и

летали, летали с таким треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги — и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее:

— Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза — все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой несся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это — перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли — как же он забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетав-



ших от времени до времени на прибрежье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чулках, вдруг садилась перед ними на корточки, распустивши на влажной и теплой зелени прибрежья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, — даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки — у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел — видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем.

А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимая его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — ответил он, неприятно усмехаясь. — Дачная девица... Amata nobis quantum amabitur nulla![1]

— Это по-латыни? Что это значит?

— Этого тебе не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

*27 сентября 1940*

---

[1] Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! (*лат.*)

# Смарагд

Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься — не облака плывут — луна плывет, и близ нее, вместе с ней, льется золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезду.

Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх — голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен.

— Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете?

— Цвет чего, Киса?

— Не зовите меня так, я уже тысячу раз говорила вам...

— Слушаю-с, Ксения Андреевна.

— Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет! И страшный и дивный. Вот уже правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то.

— Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится.

— Да. Ну, я не знаю, — может, не смарагд, а яхонт... Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы, божий престол...

— И золотые груши на вербе...

— Какой ты испорченный, Толя. Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека.

— Сама истина глаголет ее устами, Киса.

Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешевые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад... Он кладет руку на ее колено, другой обнимает ее за плечи и полушутя целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена.

— Что такое? Мы обиделись?

Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слезы.

— Да в чем дело?

— Ах, оставьте меня...

— Да что случилось?

Она шепчет:

— Ничего...

И, соскочив с подоконника, убегает.

Он пожимает плечами:

— Глупа до святости!

*3 октября 1940*

# Холодная осень

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький

шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь, пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...



Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, — в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой

воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

*3 мая 1944*

# Ворон

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидал однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в «Полярных путешествиях» Богданова, — так похож показался мне Наполеон на пингвина, — а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черноволосый, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон — особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, — рослую даму в парче и кокошнике, с носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое, — я да маленькая сестра моя Лиля, — и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квар-

тира во втором этаже одного из казенных домов, выходивших фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на Святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, — всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваем стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, — медлительно, но говорил, — обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, — «любезная Елена Николаевна», — даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом — лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх, — радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми



краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она — Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил — нечто очень странное:

— Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими брильянтами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты, — говорил он, усмехаясь. — Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, — значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч, — простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше, — вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

— Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, — например, именьице в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии, — только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, насколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день, — очень мне памятный. Утром того дня отец уехал

в собор, из собора — на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату, — она брыкалась, кусала нам руки, — умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом — в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

— Это на нее так гроза подействовала, — радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась: — О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно — мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, — гроза уже прошла, точно он потушил ее, — в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцев над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски-игриво, предостерегающе пел рожок горниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Воина на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забилось сильнее, лоб стянуло — я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, — этих



коротких встреч и отчаянно-долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, пришпиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, — отойти было нельзя: Лиля поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрестанного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

— Что, заснула?

Она махнула рукой.

— Ах, нет! Ты не знаешь — она может по двое суток не спать, и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши...

И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову:

— Боже мой, когда ж это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, — мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание. Я взглянул через ее плечо — отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий: «Папаша просит вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

— Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу

тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург — «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидел и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом — на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

*18 мая 1944*

# Чистый понедельник

Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, — в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды — оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер — от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый вечер я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру», в «Стрельну»... Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения — совсем близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании — и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее.

Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил: «Зачем?» Она пожала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история...» Жила она одна, — вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя

она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», — только одно начало, — на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы, — по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие, — и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы...» Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского, — и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему, — говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, — но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату...» Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать», — но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», — сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее



красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непоседливы, — говорила она, — дайте мне дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, — отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так, — говорила она, — но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки,

стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненного ангела»?

— Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

— Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» — думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... «Странный город! — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...»

Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем, — наследство моей астраханской бабушки, сказала она, — сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молчала. Я поминутно искал ее жаркие губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?



И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке:

— Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило. «Там видно будет!» — сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову:

— Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

— Да, все-таки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я. — И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащить — ничего нету».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад, — да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия!» В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела

меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой... Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я, — все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — все-таки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи.

— Ведь завтра уже чистый понедельник, — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. — «Господи владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?

Я удивился, но поспешил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки, — прибавила она, — Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...

Я удивился еще больше:

— На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе: гроб — дубовая колода, как в древности, золотая парча будто кованая, лик усопшего закрыт белым «воздухом», шитым крупной черной вязью — красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религиозны.



— Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы — да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, — то один хор, то другой, — и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег... Да нет, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу, — солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики — она вдруг обернулась, почувствовала это:

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумением, покачав головой.

Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!

Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.

— Поездим еще немножко, — сказала она, — потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор, — правда?

— Слушаю-с.

— Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоедовском пе-

реулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов, — прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна...

— Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель, — сказала она.

Я засмеялся:

— Опять в обитель?

— Нет, это я так...

В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы богородицы троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком, — я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

— Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и богородица троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

— Могу, могу! — отвечал я. — И давайте закажем обед сйлен!

— Как это «силен»?

— Это значит — сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...»

— Как хорошо! Гюрги!

— Да, князь Юрий Долгорукий. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: «Приди ко мне, брате, в Москову» и повеле устроить обед силен».

— Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь — вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как



было хорошо! Везде лужи, воздух уж мягкий, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!

Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

— Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

— К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушице у нас херес на редкость хорош есть, а к наважке...

— И к наважке хересу, — прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах:

— Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержствовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном...».

Я шутя сделал страшные глаза:

— Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

— Так испытывал ее бог. «Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили бога сей князь и княгиня преставиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одеяние...»

И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со

мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани:

— Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.

— Так что? — спросил я. — Вы хотите поехать на этот «капустник»?

— Да.

— Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!

— И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.

Я мысленно покачал головой, — все причуды, московские причуды! — и бодро отозвался:

— Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено, — люстры, канделябры по бокам зе́ркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Лунной сонаты» — все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, — звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел — она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полуколечками загибались к глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

— Вот если бы я была певица и пела на эстраде, — сказала она, глядя на мое растерянное лицо, — я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него...

На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, — оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом:

— Царь-девица, Шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

— А это что за красавец? Ненавижу.

Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка — и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:

— Дозвольте пригласить на полечку Транблан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

— Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем, — «какой-то светящийся череп», — сказала она. На Спасской башне часы били три, — еще сказала:

— Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...

Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:

— Отпустите его...

Пораженный, — никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, — я растерянно сказал:

— Федор, я вернусь пешком...

И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос.

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне: — Нет, я думала...

На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза — она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:

— Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один бог знает...

И прижалась своей щекой к моей, — я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница.

— Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, — метели уже не было, все было спокойно, и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом, и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и



нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо — я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:

— Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!

Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко — ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть бог даст сил не отвечать мне — бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться — равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того чистого понедельника...

В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный, Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, — стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, проехал по Грибоедовскому переулку — и все плакал, плакал...

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за ради бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч...

Я сунул ему рубль — он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся

в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, — уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

*12 мая 1944*

# Мистраль

«Все воды твои и волны твои прошли надо мною».

«Вот ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто пред тобою».

Век мой, господи, ничто не только пред тобою, но и предо мною самим...

Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: «Кажется, скоро рассвет...» Но затем опять видишь ту же черную тьму, слышишь, как жадно несется наружи мистраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще ночные, полночные. Привычно подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мертвый. От света все вокруг стало проще, шум и гул отдалились от дома, и спокойно стоит освещенный куб спальни, беззвучно блестит зеркало против меня, над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобна первой, будучи только ниже и меньше ее; там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и опять только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

«Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить».

Итак, было будто бы время, когда я «всходил на корабль», юный, беспечный, ни о какой гавани не думаю-

щий... Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нем! «Ничтожна жизнь каждого. Ничтожен каждый край земли... Немного уже осталось тебе. Живи как на горе. Как с горы обозревай земное: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти...» И я мысленно вижу Прованс, по которому мчится мистраль с дикой жаждой сокрушения всего человеческого, временного, вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его горами и долинами, с белеющими в лихорадочном блеске звезд дорогами — все теми же, что в те легендарные дни, когда миром правил тот, кто в какой-то «стране Квадов», в часы своего ночного одиночества, писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков... В глухих провансальских селениях, первобытно прекрасных в своей дикости, пахнущих как бы пастушеским дымом, въевшимся в камень и глину жилищ и очагов, народ говорит, что мул есть создание вещее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он в такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к «работе» мистраля: он, верно, тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространство тех римских времен, кажущихся мне и моими собственными.

Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно сбегаю в прихожую, отворяю наружную дверь: свежесть ночного воздуха, терраса и пальмы на ней, сад по уступам внизу — и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо... Всюду предрассветное ничто. За домом, над темной лесистой горой, есть уже что-то затаенное, обещающее, чуть светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую высь. Но нигде еще нет ни единого признака жизни. Округлые, от верхушки во все стороны раскинутые вайи пальм мертво висят черными клешнями. Ниже, над садом подо мной, над его скромно сереющими оливами, черно простираются плоские громады широковетвистых пиний. Впереди, в далекой глубине за ними, чуть различимо сквозь сумрак ночное, печальное лоно долин; еще дальше — сонная, холодная туманность: белесо



застыло дыхание моря. К западу тучей означаются в небе хребты Эстереля и Мор. К востоку темнеет горб Антибского мыса. И таинственно и мерно, с промежутками, зорко прядает там, на горбе, белый огонь маяка...

Но вот он вдруг гаснет: небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное. И где-то внизу подо мной, на какой-то ферме, кричит первый рассветный петух: еще сквозь сон, несознательно, но уже задирчиво, с напрягающимся хриплым клекотом двух разных голосов...

Еще одно мое утро на земле.

*1944*

# Бернар

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и в дали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, — только чувствовалось, что они покрыты снегом, — доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнущий бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, — где-то звонили, звучал Angelus... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, — жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...



— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. Je crois bien que j'étais un bon marin.

Он сказал это, умирая, — это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— Je crois bien que j'étais un bon marin.

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное

исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал в свою последнюю минуту? «Ныне отпущаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

*1952*

## СОДЕРЖАНИЕ


*Л. Крутикова.* Верность призванию . . . . . 3

**Повести и рассказы**

Антоновские яблоки . . . . . 29
Деревня . . . . . 43
Суходол . . . . . 162
Сверчок . . . . . 216
Захар Воробьев . . . . . 226
Лирник Родион . . . . . 239
Братья . . . . . 246
Грамматика любви . . . . . 269
Господин из Сан-Франциско . . . . . 278
Казимир Станиславович . . . . . 299
Легкое дыхание . . . . . 307
Сны Чанга . . . . . 313
Петлистые уши . . . . . 329
Соотечественник . . . . . 341
Старуха . . . . . 348
Роза Иерихона . . . . . 352
Преображение . . . . . 354
Далекое . . . . . 358
В ночном море . . . . . 366
Огнь пожирающий . . . . . 375
Лапти . . . . . 382
Книга . . . . . 384
Ночь . . . . . 386
Божье древо . . . . . 398

Темные аллеи . . . . . 416
Поздний час . . . . . 421
Руся . . . . . 427
Смарагд . . . . . 437
Холодная осень . . . . . 439
Ворон . . . . . 443
Чистый понедельник . . . . . 449
Мистраль . . . . . 463
Бернар . . . . . 466

ИБ № 2564

*Иван Алексеевич Бунин*

ИЗБРАННОЕ

Редактор *В. Егорова.*
Художественный редактор *А. Галевицс.*
Технический редактор *Г. Слепкова.*
Корректоры *И. Спиридонова,*
*Ю. Лицитис.*

Сдано в набор 24.07.78. Подписано в печать 14.11.78. Формат 84×108/32. Типографская бумага № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. 24,78 усл. печ. л.; 25,26 уч.-изд. л. Тираж 130 000 экз. Заказ № 2046-Д. Цена в переплете 1 руб. 60 коп. (80 000 экз.), в обложке — 1 руб. 50 коп. (50 000 экз). Издательство «Лиесма», 226047 Рига, бульвар Падомью, 24. Изд. № 664/29563/Д-774. Отпечатано в типографии «Циня» Государственного комитета Латвийской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 226011 Рига, ул. Блауманя, 38/40.

**Бунин И. А.**

Б 91 Избранное/Вступит. статья И. Крутикова. — Рига: Лиесма, 1978. — 470 с.

В книгу вошли лучшие произведения Ивана Алексеевича Бунина, составившие сборник избранных произведений писателя, вышедший к 100-летию И. А. Бунина в 1970 году.

Б $\frac{70302-664}{M801(11)-78}$ —78 К1